

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

АНДРЕЕВ

Дневник Сатаны



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Леонид Николаевич Андреев
Дневник Сатаны (сборник)
Серия «Русская классика (АСТ)»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30814833

Дневник Сатаны: Издательство АСТ; М.; 2018

ISBN 978-5-17-107209-4

Аннотация

«Дневник Сатаны» – последнее произведение Андреева. Сатана в облике человека отправляется в мир людей – и оказывается, что этот мир настолько погряз в грехах и преуспел в делах преступных, что далеко обогнал самого дьявола. Посланец преисподней, некогда вызывавший страх у людей, теперь выглядит наивным и жалким. «Дневник Сатаны» – это «книга итогов» творчества Андреева, книга философская, мрачная и, увы, актуальная до сих пор.

В сборник также вошли повести «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных» и другие произведения, относящиеся к разным периодам творчества писателя.

Содержание

Дневник Сатаны	5
I	5
II	76
III	127
Конец ознакомительного фрагмента.	139

**Леонид Николаевич
Андреев
Дневник Сатаны**

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Дневник Сатаны

I

18 января 1914 г.

На борте «Атлантика»

Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду земную жизнь.

Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но Мне надо говорить о себе, и Мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока Я не выражу их словом: их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть, как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки – и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть умным; для всех остальных он не обязателен, и они могут блуждать, как им угодно.

Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым... не знаю, как это назвать, – единым дыханием схватывать все и единым дыханием все выражать. И

недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уж не раз предо Мною мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь.

Да, чрезвычайно трудно и раздражает «нервы» (тоже хорошенькая вещь!). Вот сейчас – для выражения маленькой и обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики Я принужден был испортить столько прекрасной паровой бумажки... а что же нужно, чтобы выразить большое и необыкновенное? Скажу заранее, – чтобы ты не слишком разевал твой любопытный рот, мой земной читатель! – что *необыкновенное* на языке твоего ворчания *невыразимо*. Если не веришь Мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех: они все познали *что-то* и хотели выразить его... и ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы, ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц?

Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать Меня вопросами, узнав, что Я – вочеловечившийся Сатана: ведь это так интересно! Откуда Я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие, а также каковы цены на каменный уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, если бы таковое и суще-

ствовало у Меня, Я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историек о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению, но ты имеешь их уже достаточно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас обоих.

А правду – как ее скажу, если даже мое *Имя* невыразимо на твоём языке? Сатаню назвал меня ты, и Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я – Сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе! Оно звучит необыкновенно, и Я никак не могу втиснуть его в твоё узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами: пусть Я – Сатана, и только.

И ты сам виноват в этом, мой друг: зачем в твоём разуме так мало понятий? Твой разум как нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба, а здесь нужно больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании: жизнь и смерть – как же Я объясню тебе *третье*? Все существование твоё является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого *третьего*, и где же Я возьму его? Ныне Я человек, как и ты, в моей голове твои мозги, в моем рту мешкотно толкутся и колются углами твои кубические слова, и Я не могу рассказать тебе о Необыкновенном.

Если Я скажу, что чертей нет, Я обману тебя. Но если Я скажу, что они есть, Я также обману тебя... Видишь, как это

трудно, какая это бессмыслица, мой друг! Но даже о моем вочеловечении, с которого десять дней назад началась моя земная жизнь, Я могу рассказать тебе очень мало понятного. Прежде всего забудь о твоих любимых волосатых, рогатых и крылатых чертях, которые дышат огнем, превращают в золото глиняные осколки, а старцев – в обольстительных юношей и, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно проваливаются сквозь сцену, – и запомни: когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни: Я сейчас человек, как и ты, от Меня пахнет не вонючим козлом, а недурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку, нисколько не боясь оцарапаться о когти: Я их так же стригу, как и ты.

Но как это случилось? Очень... просто. Когда Я захотел прийти на землю, Я нашел одного подходящего, как помещение, тридцативосьмилетнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его... конечно, ночью и без свидетелей. Но притянуть Меня к суду, несмотря на мое сознание, ты все-таки не можешь, так как американец *жив*, и мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя: Я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, понимаешь – да и то не все, черт его побери! И вернуться *обратно* Я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе: через смерть.

Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что по-

нять, хотя говорить о таких вещах твоими словами – все едино, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или наперстком вычерпать Ниагару! Вообрази, что ты, дорогой мой царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силою чуда или волшебства сделался муравьем, настоящим крохотным муравьем, таскающим яйца, – и тогда ты немного почувствуешь ту пропасть, что отделяет Меня бывшего от настоящего... нет, еще хуже! Ты был звуком, а стал нотным значком на бумаге... Нет, еще хуже, еще хуже, и никакие сравнения не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна которой Я еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна?

Подумай: Я двое суток, по выходе из Нью-Йорка, страдал *морской болезнью!* Это смешно для тебя, привыкшего валяться в собственных нечистотах? Ну, а Я – Я тоже валялся, но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнулся, когда подумал, что *это* не Я, а Вандергуд, и сказал:

– Качай, Вандергуд, качай!

...Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа: зачем Я пришел на землю и решил на такой невыгодный обмен – из Сатаны, «всемогущего, бессмертного, повелителя и властелина» превратился в... тебя? Я устал искать слова, которых нет, и Я отвечу тебе по-английски, французски, итальянски и немецки, на языках, которые мы оба с тобою хорошо понимаем: Мне стало скучно... в аду, и Я пришел на землю, чтобы лгать и играть.

Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо

знаешь, и об *игре* ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь какую-нибудь маленькую вещичку в парламенте, дома или в церкви? – тогда ты кое-что поймешь и в чувстве *наслаждения* игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения, то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую многозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя игра. Нет, еще больше! Вообрази, что ты океанская волна, которая вечно играет и живет только в игре, – вот эта, которую сейчас Я вижу за стеклом и которая хочет поднять наш «Атлантик»... Впрочем, Я опять ищу слов и сравнений!

Просто Я хочу играть. В настоящую минуту Я еще неведомый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знаменитым не менее твоего Гаррика или Ольриджа – когда сыграю, что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен... ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похвалы и аплодисментов хотя бы дурака? Далее, Я дерзко думаю, что Я гениален, – Сатана известен своею дерзостью, – и вот вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые и рогатые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем Я, и что Мне недостаточно адских лавров, в которых Я проницательно усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. О тебе же, мой земной друг, Я слышал, что ты умен, довольно честен, в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен высоко оценить чужую игру: ведь неспроста у тебя столько

великих! Вот Я и пришел... понятно?

Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой Рим, куда Я еду, этот «вечный» город, как его здесь называют с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Трупы определенной Я еще не имею (не хочешь ли и ты вступить в нее?), но верю, что Судьба или Случай, которому Я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров... старая Европа так богата талантами! Верю, что и зрителей в этой Европе найду достаточно чутких, чтобы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли заменять тяжелыми котурнами. Признаться, раньше Я подумывал о Востоке, где уже не без успеха подвизались когда-то некоторые мои... соотечественники, но Восток слишком доверчив и склонен к балету, как и яду, его боги безобразны, он еще слишком воняет полосатым зверем, его тьма и огни варварски грубы и слишком яркие, чтобы такому тонкому артисту, как Я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган. Ах, мой друг, Я ведь так тщеславен, что и этот Дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя... даже моим убожеством в качестве Искателя слов и сравнений. Надеюсь, что ты не воспользуешься моей откровенностью и не перестанешь Мне верить?

Есть еще вопросы? О самой пьесе Я сам толком не знаю, ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров, – Судьба, – а моя скромная роль для начала: человека, кото-

рый так полюбил других людей, что хочет отдать им все – душу и деньги. Ты не забыл, конечно, что Я миллиардер? У Меня три миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Теперь еще одна подробность, чтобы закончить эту страницу.

Со мною едет и разделит мою судьбу некто Эрвин Топпи, мой секретарь, личность весьма почтенная в своем черном сюртуке и цилиндре, с своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пасторским лицом. Не удивлюсь, если в кармане у него найду походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю – *оттуда*, то есть из ада, и тем же способом, как и Я: он также вочеловечился и, кажется, довольно удачно – бездельник совершенно нечувствителен к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некоторый ум, а мой Топпи глуп непроходимо – даже для земли. Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раскаиваюсь, что из богатого *нашего* запаса не выбрал для себя скотины получше, но Меня соблазнила его честность и некоторое знакомство с землею: как-то приятнее было пускаться в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то – давно – он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что – подумай! – вступил в монастырь братьев-францисканцев, прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винцента. Его прах стал предметом поклонения для верующих, – недурная карьера для глупого Черта! – а сам он снова со Мною и уже

нюхает, где пахнет ладаном: неискоренимая привычка! Ты его, наверное, полюбишь.

А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое я вызвал на этой стене, и Я хочу быть один, или только хоть с этим Вандергудом, который отдал Мне свое помещение и в чем-то мошеннически надул Меня. Море спокойно, Меня уже не тошнит, как в эти проклятые дни, но Я чего-то боюсь. Я – боюсь! Кажется, Меня пугает эта темнота, которую они называют ночью и которая ложится над океаном: здесь еще светло от лампочек, но за тонким бортом лежит ужасная тьма, где совсем бессильны мои глаза. Они и так ничего не стоят, эти глупейшие зеркала, умеющие только отражать, но в темноте они теряют и эту жалкую способность. Конечно, Я привыкну и к темноте, Я уже ко многому привык, но сейчас Мне нехорошо и страшно подумать, что только поворот ключа – и Меня охватит эта слепая, вечно готовая тьма. Откуда она?

И какие они храбрые с своими тусклыми зеркальцами, – ничего не видят и говорят просто: здесь темно, надо зажечь свет! Потом сами тушат и засыпают. Я с некоторым удивлением, правда холодноватым, рассматриваю этих храбрецов и... восхищаюсь. Или для страха нужен слишком большой ум, как у Меня? Ведь это не ты же такой трус, Вандергуд, ты всегда слыл человеком закаленным и бывалым!

Одной минуты в моем вочеловечении Я не могу вспом-

нить без ужаса: когда Я впервые услышал биение *моего* сердца. Этот отчетливый, громкий, отсчитывающий звук, столько же говорящий о смерти, сколько и о жизни, поразил меня неиспытанным страхом и волнением. Они всюду суют счетчики, но как могут они носить в своей груди *этот* счетчик, с быстротою фокусника спроваживающий секунды жизни?

В первое мгновение Я хотел закричать и немедленно ринуться *вниз*, пока еще не привык к жизни, но взглянул на Топпи: этот новорожденный дурак спокойно рукавом сюртука чистит свой цилиндр, Я захохотал и крикнул:

– Топпи! Щетку!

И мы чистились оба, а счетчик в моей груди считал, сколько секунд это продолжалось, и, кажется, прибавил. Потом, впоследствии, слушая его назойливое тиканье, Я стал думать: «Не успею!» Что не успею? Я сам этого не знал, но целых два дня бешено торопился пить, есть, даже спать: ведь счетчик не дремлет, пока Я лежу неподвижной тушей и сплю!

Сейчас Я уже не тороплюсь. Я знаю, что Я успею, и мои секунды кажутся мне неистощимыми, но мой счетчик чем-то взволнован и стучит, как пьяный солдат в барабан. А как, – эти маленькие секунды, которые он сейчас выбрасывает, – они считаются равными большим? Тогда это мошенничество. Я протестую, как честный гражданин Соединенных Штатов и коммерсант!

Мне нехорошо. Сейчас Я не оттолкнул бы и друга, веро-

ятно, это хорошая вещь, друзья. Ах! Но во всей вселенной Я один!

7 февраля 1914 г.

Рим, отель «Интернациональ»

Я каждый раз бешусь, когда Мне приходится брать палку полицейского и водворять порядок в моей голове: факты направо! мысли налево! настроения назад! – дорогу его величеству Сознанию, которое еле ковыляет на своих костылях. Но нельзя – иначе бунт, шум, неразбериха и хаос. Итак – к порядку, джентльмены-факты и леди-мысли! Я начинаю.

Ночь. Темнота. Воздух вежлив, и тепел, и чем-то пахнет. Топпи внюхивается с наслаждением, говоря, что это Италия. Наш стремительный поезд подходит уже к Риму, мы блаженствуем на мягких диванах, когда – крах! – и все летит к черту: поезд сошел с ума и скovyрнулся. Сознаюсь без стыда, – я не храбрец! – что Мною овладел ужас и почти беспмятство. Электричество погасло, и когда Я с трудом вылез из какого-то темного угла, куда Меня сбросило, Я совершенно забыл, где выход. Всюду стены, углы, что-то колетса, бьется и молча лезет на Меня. И все в темноте! Вдруг под ногами труп, Я наступил прямо на лицо; уже потом Я узнал, что это был мой лакей Джорж, убитый наповал. Я закричал, и здесь мой неуязвимый Топпи выручил Меня: схватил Меня за руку и повлек к открытому окну, так как оба выхода были раз-

биты и загромождены обломками. Я выпрыгнул наземь, но Топпи что-то застрял там; мои колена дрожали, дыхание выходило со стоном, но он все не показывался, и Я стал кричать.

Вдруг он высунулся из окна:

– Чего вы кричите? Я ищу наши шляпы и ваш портфель.

И действительно: скоро он подал мне шляпу, а потом вылез и сам – в цилиндре и с портфелем. Я захохотал и крикнул:

– Человек! Ты забыл зонтик!

Но этот старый шут не понимал юмора и серьезно ответил:

– Я же не ношу зонтика. А вы знаете: наш Джорж убьет и повар тоже.

Так эта пададь, которая не чувствует, как ступают по его лицу, – наш Джорж! Мною снова овладел страх, и вдруг Я услышал стоны, дикие вопли, визг и крики, все голоса, какими вопит храбрец, когда он раздавлен: раньше Я был как глухой и ничего не слышал. Загорелись вагоны, появился огонь и дым, сильнее закричали раненые, и, не ожидая, пока жаркое поспеет, Я в беспамятстве бросился бежать в поле. Это была скачка!

К счастью, пологие холмы римской Кампаньи очень удобны для такого спорта, а Я оказался бегуном не из последних. Когда Я, задохнувшись, повалился на какой-то бугорок, уже не было ничего ни видно, ни слышно, и только далеко позади топал отставший Топпи. Но что это за ужасная вещь, сердце!

Оно так лезло Мне в рот, что Я мог бы выплюнуть его. Корчась от удушья, Я прильнул лицом к самой земле – она была прохладная, твердая, и спокойная, и здесь она понравилась Мне, и как будто она вернула Мне дыхание и вернула сердце на его место, Мне стало легче. И звезды в вышине были спокойны... Но чего им беспокоиться? Это их не касается. Они светят и празднуют, это их вечный бал. И на этом светлейшем балу Земля, одетая мраком, показалась Мне очаровательной незнакомкой в черной маске. (Нахожу, что это выражено недурно, и ты, мой читатель, должен быть доволен: мой стиль и манеры совершенствуются!)

Я поцеловал Топпи в темя – Я целую в темя тех, кого люблю, – и сказал:

– Ты очень хорошо вочеловечился, Топпи. Я тебя уважаю. Но что мы будем делать дальше? Это зарево огней – Рим? Далеко!

– Да, Рим, – подтвердил Топпи и поднял руку. – Вы слышите – свистят!

Оттуда неслись протяжные и стонущие свистки паровозов; они были тревожны.

– Свистят, – сказал Я и засмеялся.

– Свистят! – повторил Топпи, ухмыляясь, – он не умеет смеяться.

Но Мне снова стало нехорошо. Озноб, странная тоска и дрожь в самом основании языка. Меня мучила эта падаль, которую я давил ногами, и Мне хотелось встряхнуться, как

собаке после купанья. Пойми, ведь это был первый раз, когда Я видел и ощущал твой труп, мой дорогой читатель, и он Мне не понравился, извини. Почему он не возражал, когда Я ногой попираю его лицо? У Джоржа было молодое, красивое лицо, и он держался с достоинством. Подумай, что и в твоё лицо вдавится тяжёлая нога, – и ты будешь молчать?

К порядку! В Рим мы не пошли, а отправились искать ночлега у добрых людей поближе. Долго шли. Устали. Хотелось пить – ах, как хотелось пить! А теперь позволь тебе представить моего нового друга, синьора Фому Магнуса и его прекрасную дочь Марию.

Вначале это было слабо мерцающим огоньком, который «зовет усталого путника». Вблизи это было маленьким уединённым домиком, еле сквозившим белыми стенами сквозь чащу высоких чёрных кипарисов и ещё чего-то. Только в одном окне был свет, остальные закрыты ставнями. Каменная ограда, железная решётка, крепкие двери. И – молчание. На первый взгляд это было подозрительное что-то. Стучал Топпи – молчание. Долго стучал Я – молчание. И наконец суровый голос из-за железной двери спросил:

– Кто вы? Что надо?

Еле ворочая высохшим языком, мой храбрый Топпи рассказал о катастрофе и нашем бегстве, он говорил долго, – и тогда лязгнул железный замок, и дверь открылась. Следуя за суровым и молчаливым незнакомцем, мы вошли в дом, прошли несколько темных и безмолвных комнат, поднялись

по скрипящей лестнице и вошли в освещенное помещение, видимо, рабочую комнату незнакомца. Светло, много книг и одна, раскрытая, лежит на столе под низкой лампой с зеленым простым колпаком. Ее свет мы заметили в поле. Но Меня поразило безмолвие дома: несмотря на довольно ранний час, не слышно было ни шороха, ни голоса, ни звука.

– Садитесь.

Мы сели, и Топпи, изнемогая, снова начал свою повесть, но странный хозяин равнодушно перебил его:

– Да, катастрофа. Это часто бывает на наших дорогах. Много жертв?

Топпи залопотал, а хозяин, полуслушая его, вынул из кармана револьвер и спрятал в стол, небрежно пояснив:

– Здесь не совсем спокойная окраина. Что ж, милости просим, оставайтесь у меня.

Он впервые поднял свои темные, почти без блеска, большие и мрачные глаза и внимательно, как диковинку в музее, с ног до головы осмотрел Меня и Топпи. Это был наглый и неприличный взгляд, и Я поднялся с места.

– Боюсь, что мы здесь лишние, синьор, и...

Но он неторопливым и слегка насмешливым жестом остановил Меня.

– Пустое. Оставайтесь. Сейчас я дам вам вина и кое-что поесть. Прислуга приходит ко мне только днем, так что я сам буду вам прислуживать. Умойтесь и освежитесь, за этой дверью ванна, пока я достану вино. Вообще, не стесняйтесь.

Пока мы пили и ели, – правда, с жадностью, – этот непри- ветливый господин читал свою книгу с таким видом, словно никого не было в комнате и будто это не Топпи чавкал, а со- бака возилась над костью. Здесь Я хорошо рассмотрел его. Высокий, почти моего роста и склада, лицо бледное и как будто утомленное, черная смоляная, бандитская борода. Но лоб большой и умный и нос... как это назвать? – вот Я снова ищущу сравнений! – нос как целая книга о большой, страстной, необыкновенной, притаившейся жизни. Красивый и сделан- ный тончайшим резцом не из мяса и хрящей, а... – как это сказать? – из мыслей и каких-то дерзких желаний. Видимо – тоже храбрец! Но особенно удивили Меня его руки: очень большие, очень белые и спокойные. Почему удивили, Я не знаю, но вдруг Я подумал: как хорошо, что не плавники! Как хорошо, что не щупальца! Как хорошо и удивительно, что ровно десять пальцев; ровно десять тонких, злых, умных мо- шенников! Я вежливо сказал:

– Благодарю вас, синьор...

– Меня зовут Магнус. Фома Магнус. Выпейте еще вина. Американцы?

Я ждал, чтобы Топпи по английскому обычаю представил Меня, и смотрел на Магнуса. Нужно было быть безграмот- ной скотиной и не читать ни одной английской, французской или итальянской газеты, чтобы не знать, кто Я?

– Мистер Генри Вандергуд из Иллинойса. Его секретарь, Эрвин Топпи, ваш покорнейший слуга. Да, граждане Соеди-

ненных Штатов.

Старый шут выговорил свою тираду не без гордости, и Магнус – да, – он слегка вздрогнул. Миллиарды, мой друг, миллиарды! Он долго и пристально посмотрел на Меня:

– М-р Вандергуд? Генри Вандергуд? Это не вы, сударь, тот американец, миллиардер, что хочет облагодетельствовать человечество своими миллиардами?

Я скромно мотнул головой:

– Уйес, Я.

Топпи мотнул головой и подтвердил... осел:

– Уйес, мы.

Магнус поклонился нам *обоим* и с дерзкой насмешливостью сказал:

– Человечество ждет вас, м-р Вандергуд. Судя по римским газетам, оно в полном нетерпении! Но мне надо извиниться за свой скромный ужин: я не знал...

С великолепной прямоотой Я схватил его большую, странно горячую руку и крепко, по-американски, потряс ее:

– Оставьте, синьор Магнус! Прежде чем стать миллиардером, Я был свинопасом, а вы – прямой, честный и благородный джентльмен, которому Я с уважением жму руку. Черт возьми, еще ни одно человеческое лицо не будило во Мне... такой симпатии, как ваше!

Тогда Магнус сказал...

Ничего Магнус не сказал! Нет, Я не могу так: «Я сказал», «он сказал» – эта проклятая последовательность уби-

вает мое вдохновение, Я становлюсь посредственным романистом из бульварной газетки и лгу, как бездарность. Во Мне пять чувств, Я цельный человек, а толкую об одном слухе! А зрение? Поверь, оно не бездельничало. А это чувство земли, Италии, моего существования, которое Я ощутил с новой и сладкой силой. Ты думаешь, Я только и делал что слушал умного Фому Магнуса? Он говорит, а Я смотрю, понимаю, отвечаю, а сам думаю: как хорошо пахнет земля и трава в Кампанье! Еще Я старался вчувствоваться в весь этот дом (так говорят?), в его скрытые молчаливые комнаты; он казался мне таинственным. А еще Я с каждой минутой все больше радовался, что Я жив, говорю, могу еще долго играть... и вдруг Мне стало нравиться, что Я – человек!

Помню, Я вдруг протянул Магнусу мою визитную карточку: Генри Вандергуд. Он удивился и не понял, но вежливо положил карточку на стол, а Мне захотелось поцеловать его в темя: за эту вежливость, за то, что он человек, – и Я тоже человек. Еще Мне очень нравилась моя нога в желтом ботинке, и Я незаметно покачивал ею: пусть покачается, прекрасная человеческая американская нога! Я был очень чувствителен в этот вечер! Мне даже захотелось раз заплакать: смотреть прямо в глаза собеседнику и на своих открытых, полных любви, добрых глазах выдавить две слезинки. Кажется, Я это и сделал, и в носу приятно кольнуло, как от лимонада. И на Магнуса мои две слезинки, как Я заметил, произвели прекраснейшее впечатление.

Но Топпи!.. Пока Я переживал эту чудную поэму вочеловечения и слезился, как мох, он мертвецки спал за тем же столом, где сидел. Не слишком ли он вочеловечился? Я хотел рассердиться, но Магнус удержал меня:

– Он переволновался и устал, м-р Вандергуд.

Впрочем, было уже позднее время. Мы уже два часа горячо говорили и спорили с Магнусом, когда это случилось с Топпи. Я отправил его в постель, и мы продолжали пить и говорить еще долго. Пил вино больше Я, а Магнус был сдержан, почти мрачен, и Мне все больше нравилось его суровое, временами даже злое и скрытное лицо. Он говорил:

– Я верю в ваш альтруистический порыв, м-р Вандергуд. Но я не верю, чтобы вы, человек умный, деловой и... несколько холодный, как мне кажется, могли возлагать какие-нибудь серьезные надежды на ваши деньги...

– Три миллиарда – огромная сила, Магнус!

– Да, три миллиарда огромная сила, – согласился он спокойно и нехотя, – но что вы можете сделать с ними?

Я засмеялся:

– Вы хотите сказать: что может сделать с ними этот невежда американец, этот бывший свинопас, который свиней знает лучше, нежели людей?..

– Одно знание помогает другому.

– Этот сумасбродный филантроп, которому золото бросилось в голову, как молоко кормилице? Да, конечно, что Я могу сделать? Еще один университет в Чикаго? Еще богадель-

ню в Сан-Франциско? Еще одну гуманную исправительную тюрьму в Нью-Йорке?

– Последнее было бы истинным благодеянием для человечества. Не смотрите на меня так укоризненно, м-р Вандергуд: я нисколько не шучу, во мне вы не найдете той... беззаветной любви к людям, которая так ярко горит в вас.

Он дерзко насмеялся надо Мною, а Мне было так его жаль: не любить людей! Несчастный Магнус, Я с таким удовольствием поцеловал бы его в темя! Не любить людей!

– Да, я их не люблю, – подтвердил Магнус. – Но я рад, что вы не собираетесь идти шаблонным путем всех американских филантропов. Ваши миллиарды...

– Три миллиарда, Магнус! На эти деньги можно создать новое государство...

– Да?!

– Или разрушить старое. На это золото, Магнус, можно сделать войну, революцию...

– Да?

Мне таки удалось поразить его: его большая белая рука слегка вздрогнула, и в темных глазах мелькнуло уважение: «А ты, Вандергуд, не так глуп, как я подумал вначале!» Он встал и, пройдя раз по комнате, остановился передо Мною и с насмешкой, резко спросил:

– А вы знаете точно, что нужно вашему человечеству: создание нового или разрушение старого государства? Война или мир? Революция или покой? Кто вы такой, м-р Ван-

дергуд из Иллинойса, что беретесь решать эти вопросы? Я ошибся: стройте богадельню и университет в Чикаго, это... безопаснее.

Мне нравилась дерзость этого человечка! Я скромно опустил голову и сказал:

– Вы правы, синьор Магнус. Кто Я такой, Генри Вандергуд, чтобы решать *эти* вопросы? Но Я их и не решаю. Я только ставлю их, Я ставлю и ищу ответа, ищу ответа и человека, который Мне его даст. Я неуч, невежда, Я не читал, как следует, ни одной книги, кроме гроссбуха, а здесь Я вижу книг достаточно. Вы мизантроп, Магнус, вы слишком европеец, чтобы не быть слегка и во всем разочарованным, а мы, молодая Америка, мы верим в людей. Человека надо делать! Вы в Европе плохие мастера и сделали плохого человека, мы – сделаем хорошего. Извиняюсь за резкость: пока Я, Генри Вандергуд, делал только свиней, и мои свиньи, скажу это с гордостью, имеют орденов и медалей не меньше, нежели фельдмаршал Мольтке, но теперь Я хочу делать людей...

Магнус усмехнулся:

– Вы алхимик от Евангелия, Вандергуд: берете свинец и хотите превращать в золото!

– Да, Я хочу делать золото и искать философский камень. Но разве он уже не найден? Он найден, только вы не умеете им пользоваться: это – любовь. Ах, Магнус, Я еще сам не знаю, что буду делать, но мои замыслы широки и... величественны, сказал бы Я, если бы не эта ваша мизантропическая

улыбка. Поверьте в человека, Магнус, и помогите Мне! Вы знаете, что нужно человеку.

Он холодно и угрюмо повторил:

– Ему нужны тюрьмы и эшафот.

Я воскликнул в негодовании (негодование Мне особенно удается):

– Вы клевете на себя, Магнус! Я вижу, что вы пережили какое-то тяжелое горе, быть может, измену и...

– Остановитесь, Вандергуд! Я сам никогда не говорю о себе и не люблю, чтобы и другие говорили обо мне. Достаточно сказать, что за четыре года вы первый нарушаете мое одиночество, и то... благодаря случайности. Я не люблю людей.

– О! Простите, но Я не верю.

Магнус подошел к книжной полке и с выражением презрения и как бы гадливости взял в свою белую руку первый попавшийся том.

– А вы, не читавший книг, знаете, о чем эти книги? Только о зле, ошибках и страдании человечества. Это слезы и кровь, Вандергуд! Смотрите: вот в этой тоненькой книжонке, которую я держу двумя пальцами, заключен целый океан красной человеческой крови, а если вы возьмете их все... И кто пролил эту кровь? Дьявол?

Я почувствовал себя польщенным и хотел поклониться, но он бросил книгу и гневно крикнул:

– Нет, сударь: человек! Ее пролил человек! Да, я читаю эти книги, но лишь для одного: чтобы научиться ненавидеть

и презирать человека. Вы ваших свиней превратили в золото, да? А я уже вижу, как это золото снова превращается в свиней: они вас слопают, Вандергуд. Но я не хочу ни... лопать, ни лгать: выбросьте в море ваши деньги, или... стройте тюрьмы и эшафот. Вы честолюбивы, как все человеколюбцы? Тогда стройте эшафот. Вас будут уважать серьезные люди, а стадо назовет вас великим. Или вы, американец из Иллинойса, не хотите в Пантеон?

– Но, Магнус!..

– Кровь! Разве вы не видите, что кровь везде? Вот она уже на вашем сапоге...

Признаюсь, что при этих словах сумасшедшего, каким в ту минуту показался Мне Магнус, Я с испугом дернул ногою, на которой лишь теперь заметил темное красноватое пятно... такая мерзость!

Магнус улыбнулся и, сразу овладев собою, продолжал холодно и почти равнодушно:

– Я вас невольно испугал, м-р Вандергуд? Пустяки, вероятно, вы наступили на... что-нибудь ногою. Это пустяки. Но этот разговор, которого я не вел уже много лет, слишком волнует меня и... Спокойной ночи, м-р Вандергуд. Завтра я буду иметь честь представить вас моей дочери, а сейчас позвольте...

И так далее. Одним словом, этот господин самым грубейшим образом отвел Меня в мою комнату и чуть сам не уложил в постель. Я и не спорил: зачем? Надо сказать, что в эту

минуту он Мне очень мало нравился. Мне было даже приятно, что он уходит, но вдруг у самой двери он обернулся и, сделав шаг, резко протянул ко Мне обе свои белые большие руки. И прошептал:

– Вы видите эти руки? На них кровь! Пусть кровь злодея, мучителя и тирана, но все та же красная человеческая кровь. Прощайте!

...Он испортил Мне ночь. Клянусь вечным спасением, в этот вечер Я с удовольствием чувствовал себя человеком и расположился, как дома, в его тесной шкуре. Она всегда жмет Мне под мышками. Я взял ее в магазине готового платья, а тут Мне казалось, что она сшита на заказ у лучшего портного! Я был чувствителен. Я был очень добр и мил, Мне *очень* хотелось поиграть, но Я вовсе не был склонен к такой тяжелой трагедии! Кровь! И нельзя же совать под нос полужакому джентльмену свои белые руки... у всех палачей очень белые руки!

Не думай, что Я шучу. Мне стало очень нехорошо. Если днем Я еще пока побеждаю Вандергуда, то каждую ночь он кладет Меня на обе лопатки. Это *он* заселяет темноту моих глаз своими глупейшими снами и перетрясает свой пыльный архив... и как безбожно глупы и бестолковы его сны! Всю ночь он хозяйничает во Мне, как вернувшийся хозяин, перебирает брезгливо, что-то ищет, хнычет о порче и потерях, как скупец, кряхтит и ворочается, как собака, которой не спится на старой подстилке. Это он каждую ночь втягива-

ет меня, как мокрая глина, в глубину дряннейшей человечности, в которой Я задыхаюсь. Каждое утро, проснувшись, Я чувствую, что вандергудовская настойка человечности стала на десять градусов крепче... подумай: еще немного, и он просто выставит Меня за порог, – он, жалкий владелец пустого сарая, куда Я внес дыхание и душу!

Как торопливый вор, Я влез в чужое платье, карманы которого набиты векселями... Нет, еще хуже! Это не тесное платье, это низкая, темная и душная тюрьма, в которой Я занимаю места меньше, нежели солитер в желудке Вандергуда. Тебя с детства запрятали в твою тюрьму, мой дорогой читатель, и ты даже любишь ее, а Я... Я пришел из царства Свободы. И Я не хочу быть глистом Вандергуда: один глоток этого чудесного цианистого кали, и Я – снова свободен. Что скажешь тогда, негодяй Вандергуд? Ведь без Меня тебя тотчас слопают черви, ты лопнешь, ты расползешься по швам... мерзкая падаль! Не трогай Меня!

Но в эту ночь Я весь был во власти Вандергуда. Что *Мне* человеческая кровь! Что Мне эта жидкая условность *ихней* жизни! Но Вандергуд был взволнован сумасшедшим Магнусом. Вдруг Я чувствую, – подумай! – что весь Я *полон* крови, как бычий пузырь, и пузырь этот так тонок и непрочен, что его нельзя кольнуть. Кольни здесь – она польется, тронь там – она захлещет! Вдруг Мне стало страшно, что в этом доме Меня убьют: резнут по горлу и, держа за ноги, выпустят кровь.

Я лежал в темноте и все прислушивался, не идет ли Магнус с своими белыми руками? И чем тише было в этом проклятом домишке, тем страшнее Мне становилось, и Я ужасно сердился, что даже Топпи не храпит, как всегда. Потом у Меня начало болеть все тело, быть может, я ушибся при катастрофе, не знаю, или устал от бега. Потом то же тело стало самым собачьим образом чесаться, и Я действовал даже ногами: появление веселого шута в трагедии!

Вдруг сон схватил Меня за ноги и быстро потащил книзу, Я не успел ахнуть. И подумай, какую глупость Я увидел, – ты видишь такие сны? Будто Я бутылка от шампанского с тонким горлышком и засмоленной головкой, но наполнен Я не вином, а кровью! И будто все люди – такие же бутылки с засмоленными головками, и все мы в ряд и друг на друге лежим на низком морском берегу. А оттуда идет Кто-то страшный и хочет нас разбить, и вот Я вижу, что это очень глупо, и хочу крикнуть: «Не надо разбивать, возьмите штопор и откупорьте!» Но у меня нет голоса, Я бутылка. И вдруг идет убитый лакей Джорж, в руке у него огромный острый штопор, он *что-то* говорит и хватает Меня за горлышко... ах, за горлышко!

Я проснулся с болью в темени: вероятно, он таки пытался Меня откупорить! Мой гнев был так велик, что Я не улыбнулся, не вздохнул лишний раз и не пошевелился, – Я просто и спокойно еще раз убил Вандергуда. Я стиснул спокойно зубы, сделал глаза прямыми, спокойными, вытянул мое

тело во всю длину – и спокойно застыл в сознании моего великого Я. Океан мог бы ринуться на Меня, и Я не шевельнул бы ресницей – довольно! Пойди вон, мой друг, Я хочу быть один.

И тело смолкло, обесцветилось, стало воздушным и снова пустым. Легкими стопами Я покинул его, и моему открытому взору предстало *необыкновенное*, то, что невыразимо на твоём языке, мой бедный друг! Насыть твоё любопытство причудливым сном, который Я так доверчиво рассказал тебе, – и не расспрашивай дальше! Или тебе недостаточно «огромного, острого» штопора – но ведь это так... художественно!

Наутро Я был здоров, свеж, красив и жаждал игры, как только что загримированный актер. Конечно, Я не забыл побриться – этот каналья Вандергуд обрастает щетиной так же быстро, как его золотоносные свиньи. Я пожаловался на это Топпи, с которым мы, в ожидании еще не выходявшего Магнуса, гуляли по садику, и Топпи, подумав, ответил, как философ:

– Да. Человек спит, а борода у него растет и растет. Так надо для цирюльников!

Вышел Магнус. Он не стал приветливее вчерашнего, и бледное лицо его носило явные следы утомления, но был спокоен и вежлив. Какая днем у него черная борода! С холодной любезностью он пожал Мне руку и сказал (мы стояли

на высокой каменной стене):

– Любуетесь римской Кампаньей, м-р Вандергуд? Прекрасное зрелище! Говорят, что Кампанья опасна своими лихорадками, но во мне она родит только одну лихорадку: лихорадку мысли!

По-видимому, мой Вандергуд был довольно-таки равнодушен к природе, а Я еще не вошел во вкус земных ландшафтов: пустое поле показалось Мне просто пустым полем. Я вежливо окинул глазами пустырь и сказал:

– Люди больше Меня интересуют, синьор Магнус.

Он внимательно посмотрел на Меня своими темными глазами и, понизив голос, промолвил сухо и сдержанно:

– Два слова о людях, м-р Вандергуд. Сейчас вы увидите мою дочь, Марию. Это мои три миллиарда. Вы понимаете?

Я одобрительно кивнул головой.

– Но этого золота не родит ваша Калифорния и никакое иное место на нечистой земле. Это – золото небес. Я человек неверующий, но даже я – даже я, м-р Вандергуд! – испытываю сомнения, когда встречаю взор моей Марии. Вот единственные руки, в которые вы спокойно могли бы отдать ваши миллиарды.

Я старый холостяк, и Мне стало несколько страшно, но Магнус продолжал строго и даже торжественно:

– Но она их не возьмет, сударь! Ее нежные руки никогда не должны знать этой золотой грязи. Ее чистые глаза никогда не увидят иного зрелища, нежели эта безбрежная и безгреш-

ная Кампанья. Здесь ее монастырь, м-р Вандергуд, и выход отсюда для нее только один: в неземное Светлое Царство, если только оно есть!

– Простите, но Я этого не понимаю, дорогой Магнус! – радостно запротестовал Я. – Жизнь и люди...

Лицо Фомы Магнуса стало злым, как вчера, и с суровой насмешливостью он перебил Меня:

– А я прошу вас это понять, *дорогой* Вандергуд. Жизнь и люди не для Марии и... достаточно того, что я знаю жизнь и людей. Мой долг был *предупредить* вас, а теперь, – он снова принял тон холодной любезности, – прошу вас к моему столу. Мистер Топпи, прошу вас!

Мы уже начали кушать, болтая о пустяках, когда вошла *Мария*. Дверь, в которую она вошла, была за моею спиною, ее легкую поступь Я принял за шаги служанки, подававшей блюда, но Меня поразили носатый Топпи, сидевший напротив. Глаза его округлились, лицо покраснело, как от удущья, и по длинной шее волной проплыл кадык и нырнул где-то за тугим пасторским воротничком. Конечно, Я подумал, что он подавился рыбьей костью, и воскликнул:

– Топпи! Что с тобою? Выпей воды.

Но Магнус уже встал и холодно произнес:

– Моя дочь, Мария. Мистер Генри Вандергуд.

Я быстро обернулся и... Как Мне *выразить* ее, когда *необыкновенное* невыразимо? Это было более чем прекрасно – это было страшно в своей совершенной красоте. Я не хочу

искать сравнений, возьми их сам. Возьми все, что ты видел и знаешь прекрасного на земле: лилию, звезды, солнце, но ко всему прибавь более. Но не это было страшно, а другое: таинственное и разительное сходство... с кем, черт возьми? Кого Я встречал на земле, кто был бы так же прекрасен – прекрасен и страшен – страшен и недоступен земному? Я знаю теперь весь твой архив, Вандергуд, и *это* не из твоей убогой галереи!

– Мадонна! – прохрипел сзади испуганный голос Топпи.

Так вот оно! Да, Мадонна, дурак прав, и Я, сам Сатана, понимаю его испуг. Мадонна, которую люди видят только в церквах, на картинах, в воображении верующих художников. Мария, имя которой звучит только в молитвах и песнопениях, небесная красота, милость, всепрощение и вселюбовь! Звезда морей! Тебе нравится это имя: звезда морей? Осмелюсь сказать: нет!..

И Мне стало дьявольски смешно. Я сделал глубочайший поклон и чуть – заметь: чуть! – не сказал:

«Сударыня! Я извиняюсь за мое непрошеное вторжение, но я никак не ожидал, что встречу вас *здесь*. Усерднейше извиняюсь, но я никак не ожидал, что этот чернобородый чудак имеет честь называть вас *своей* дочерью. Тысячу раз прошу прощения, что...»

Довольно. Я сказал другое:

– Здравствуйте, синьорина. Очень приятно.

Ведь она же ничем не показала, что *уже* знакома со

Мною? Инкогнито надо уважать, если хочешь быть джентльменом, и только негодяй осмелится сорвать маску с дамы! Тем более что *отец* ее, Фома Магнус, продолжает насмешливо угощать:

– Кушайте же, м-р Топпи. Вы ничего не пьете, м-р Вандергуд, вино превосходное.

В течение дальнейшего Я заметил:

1. что она дышит;
2. что она моргает;
3. что она кушает,

и что она красивая девушка лет восемнадцати, и что платье на ней белое, а шейка ее обнажена. Мне становилось все смешнее. Я бодро нес чепуху в черную бороду Магнуса, а сам *кое-что* соображал. Глядел на голую шейку и... Поверь, мой земной друг: Я вовсе не обольститель, и не влюбчивый юнец, как твои любимые бесы, но Я еще далеко не стар, не дурен собою, имею независимое положение в свете и – разве тебе не нравится такая комбинация: Сатана – и Мария? Мария – и Сатана! В свидетельство серьезности моих намерений Я могу привести то, что в эти минуты Я больше думал о *нашем* с ней потомстве и искал *имя* для *нашего* первенца, нежели отдавался простой фривольности. Я не вертопрах!

Вдруг Топпи решительно двинул кадыком и хрипло осведомился:

– С вас кто-нибудь писал портрет, синьорина?

– Мария не позирует для художников! – сурово ответил

за нее Магнус, и Я хотел засмеяться над глупым Топпи, и Я уже раскрыл рот с моими первоклассными американскими зубами, когда чистый взор Марии вошел в мои глаза, и все полетело к черту, – как тогда, при катастрофе! Понимаешь: она вывернула Меня наизнанку, как чулок... или как бы это сказать? Мой превосходный парижский костюм ушел внутрь, а мои еще более превосходные мысли, которых, однако, Я не хотел бы сообщать даме, вдруг вылезли наружу. Со всем моим *тайным* Я стал не больше скрыт, чем номер «Нью-Герольда» за пятнадцать центов.

Но она *простила* Меня и ничего не сказала, и ее взор, как прожектор, отправился дальше в темноту и осветил Топпи. Нет, здесь и ты бы засмеялся, увидев, как вспыхнули и озарились бедные внутренности этого старого глупого Черта... от молитвенника вплоть до рыбьей кости, которую он подавился!

К счастью для нас обоих, Магнус встал и пригласил нас в сад:

– Пройдемте в сад, – сказал он, – Мария покажет вам свои цветы.

Да, Мария! Но не жди от Меня песнопений, ты, поэт! Я был в бешенстве, как человек, у которого взломали его бюро. Я хотел смотреть на Марию, а вынужден был глядеть на эти дурацкие цветы – потому что не смел поднять глаз. Я джентльмен и не могу являться даме... без галстука! А когда ее взор настигал-таки мои бедные скромные мысли, мои ми-

лые маленькие мыслишки, как поджимали они хвост – свой маленький хвостик. Каким смирением проникался Я весь, и мой талантливейший грим сползал с Меня неудержимо, как краска с потного актера. Ты любишь быть смиренным? Я – нет.

Не знаю, что говорила Мария. Но клянусь вечным спасением! – ее взор и весь ее *необыкновенный* образ был воплощением такого всеобъемлющего смысла, что всякое мудрое слово становилось бессмыслицей. Мудрость слов нужна только нищим духом, богатые же – безмолвны, заметь это, поэт, мудрец и вечный болтун на всех перекрестках! Довольно с тебя, что Я унизился до слова.

Ах, но Я забыл о смирении моем! Это она ходила, а мы с Топпи ползали за ней, и Я ненавидел себя, ненавидел широкозадого Топпи за его позорный отвислый нос и вялые уши. Здесь нужен был по меньшей мере Аполлон, а не пара американцев, да и то из композиции.

Но как нам стало хорошо, когда она ушла и мы остались только с Магнусом – Магнус, это так мило и просто! Топпи перестал религиозно гундосить, как заштатный пономарь, а Я заложил ногу за ногу, закурил сигару и к самому зрачку Магнуса приставил свой стальной и острый взгляд. Но что он встретил: пустоту или такую же стальную кирасу?

– Вам надо ехать в Рим, м-р Вандергуд, о вас, наверно, беспокоятся, – спокойно сказал любезный хозяин.

Я сильнее нажал клинок.

– Но Я могу послать Топпи...

Он улыбнулся с дерзкой насмешкой:

– Едва ли этого будет достаточно, м-р Вандергуд!

Я поискал глазами, где большая белая рука, чтобы дружески пожать ее, но рука была далеко и приблизиться не намеревалась. А все-таки Я поймал ее и пожал ее, и он должен был ответить пожатием!

– Хорошо, синьор Магнус, Я сейчас уеду.

– Я уже послал за экипажем. Не правда ли, как хороша Кампанья при этом вечернем солнце?

Я еще раз вежливо осмотрел пустырь и с чувством подтвердил:

– Да, превосходна! Эрвин, мой друг, оставьте нас на минуту, Мне надо сказать два слова синьору Магнусу...

Топпи вышел, а синьор Магнус сделал большие и совсем не радостные глаза. И, пробуя свою сталь, Я наклонился к его мрачному лицу и спросил:

– Вы не замечали, *дорогой* Магнус, некоторого, даже очень большого сходства вашей дочери, синьоры Марии, с одной... весьма известной особой? Вам не кажется, что она похожа – на Мадонну?

– Мадонну? – протянул Магнус так длинно, что всего меня обмотал этим словом. – Нет, *дорогой* Вандергуд, не замечал. Я не бываю в церкви. Но боюсь, что вам поздно будет ехать. Римская лихорадка...

Я опять поймал его белую руку и с дружеским остервене-

нием потряс ее... нет, Я ее не оторвал! И на моих добрых глазах снова выступили *те* две слезинки:

– Будем говорить прямо, синьор Магнус. Я человек прямой, и Я полюбил вас. Хотите ехать со Мною и быть распорядителем моих миллиардов?

Магнус молчал. Рука его лежала неподвижно в моей руке, темные глаза опустились, и что-то темное, как они, прошло по бледному лицу и скрылось. Наконец он сказал серьезно и просто:

– Я вас понимаю, м-р Вандергуд... но я должен ответить вам отказом. Нет, я с вами не поеду. Я еще не сказал вам одной вещи, но ваша прямота и доверчивость понуждает меня к откровенности: я должен до известной степени скрываться от полиции...

– Римской? Мы ее купим.

– Нет, скорее... международной. Конечно, вы не думаете, что я свершил какое-нибудь позорное преступление?.. Да, да, хорошо. Но дело не в полиции, которую можно купить. Вы правы, м-р Вандергуд, что все люди продаются. Дело в том, что я не могу быть для вас полезен. Зачем я вам? Вы любите человечество – я его презираю, и в лучшем случае равнодушен. Пусть его живет и не мешает жить мне. Оставьте мне мою Марию, оставьте мне право и силу презирать людей, читая историю их жизни, оставьте мне эту Кампанию – и это все, чего я хочу... и на что я способен. Все масло во мне выгорело, Вандергуд: перед вами потухшая лампада на

пустой стене, где когда-то... Прощайте.

– Я не прошу вас об откровенности, Магнус...

– Простите, но вы ее никогда и не получите, м-р Вандергуд. Мое имя вымышлено... но оно единственное, которое я могу предложить своим друзьям.

Скажу правду: в эту минуту «Фома Магнус» Мне понравился. Он говорил смело и просто, в его тяжелом лице читалось упрямство и воля. Этот человек знал, *чего* стоит человеческая жизнь, и имел вид осужденного на смерть, но гордого и непримиряющегося преступника, который уж не пойдет к попу за утешением! У Меня даже мелькнула догадка: у моего Отца много побочных детей, лишенных наследства и праздно болтающихся по свету – не один ли из этих скитальцев и Фома Магнус? И неужели Я на этой земле встречу – *брата*? Очень интересно. Но и с чисто человеческой, деловой точки зрения нельзя не уважать человека, у которого руки в крови!

Я отсалютовал шпагой, переменял позицию и самым скромным образом попросил Магнуса разрешения изредка приезжать к нему за советом. Он несколько мгновений колебался, но потом очень прямо взглянул на Меня и выразил согласие.

– Хорошо, м-р Вандергуд, приезжайте. Я надеюсь услышать от вас много интересного, что отчасти заменит мне мои книги. И м-р Топпи очень понравился моей Марии...

– Топпи?!

– Да. Она нашла в нем сходство с каким-то из святых; Мария часто посещает церковь, м-р Вандергуд.

Топпи – святой?! Или это походный молитвенник перевесил его широкий зад и рыбью кость в горле? А Магнус смотрел на Меня почти нежно, и лишь его тонкий нос слегка вздрагивал от сдержанного смеха... приятно, что за такой суровой внешностью скрывается столько тихого веселья!

Уже вечерело, когда мы уехали. Провожал нас только Магнус, Мария более не выходила. Белый домик за кипарисами был, как и вчера, тих и безмолвен, но теперь эта тишина показалась Мне иною: ею была душа *Марии*.

Скажу правду, Мне было грустно уезжать, но вскоре другие впечатления охватили и рассеяли Меня: начинался Рим. Через какой-то пролом в толстой стене мы въехали на освещенные людные улицы, и первое, что Я увидел в Вечном городе, был вагон трамвая, со скрипом и стоном пролезавший в ту же стену. Топпи, уже знакомый с Римом, блаженно внюхивался в каждую темную громаду церкви и своим длинным пальцем показывал Мне *остатки* старого Рима, влипшие в огромные и гладкие стены новых домов: как будто настоящее бомбардировали снарядами прошлого и они застряли в кирпиче.

Кое-где темнели целые кучи этого старья. Через низенький каменный парапет мы увидели какую-то темную неглубокую яму и толстые триумфальные ворота, до колен ушедшие в землю. «Форум!» – торжественно возгласил Топпи, и

извозчик на козлах поспешно и одобрительно закивал головой в помятой шляпе. С каждой новой грудой старого кирпича и щебня мой чудак преисполнялся все большей важностью, а Я жалел о моем *высоком* Нью-Йорке и рассчитывал, сколько нужно обыкновенных мусорных телег, чтобы к утру вывезти вон весь старый Рим. Когда Я сказал об этом Топпи, он обиделся и угрюмо возразил:

– Вы ничего не понимаете. Лучше закройте глаза и только думайте, что вы в *Риме*.

Я так и сделал и еще раз убедился, что *зрение* большая по-меха для ума, как и слух: даром на земле мудрецы слепы, а лучшие музыканты глухи. В мой нос, когда Я, подобно Топпи, стал внюхиваться в *воздух*, вошло гораздо больше *Рима* и его ужасно длинной и крайне занимательной истории: так старый гниющий лист в лесу пахнет сильнее и крепче, чем молодая зеленая листва. Поверишь ли: в одном месте Я ощутил явственный запах *Нерона и крови*? А когда Я в восторге открыл глаза, Я увидел обыкновенный газетный киоск и будку с лимонадом!

– Ну как? – проворчал Топпи, все еще недовольный.

– *Пахнет*.

– Ну да, конечно, пахнет! И с каждым часом будет пахнуть все сильнее: это старые, крепкие духи, м-р Вандергуд.

– И точно: пахло все крепче и... – не могу найти сравнения! – все частицы моего мозга зашевелились и тихо зажужжали, как пчелы, разбуженные дымом. Странно, но в архиве

этого нелепого Вандергуда, кажется, есть и Рим: уж не *отсюда* ли он родом? По крайней мере, на какой-то шумной площади Я ощутил явный запах *родственников*, а вскоре Я получил твердое убеждение, что по *этим* улицам Я уже ходил когда-то сам. Уж не случилось ли Мне и раньше вочеловечиваться, как и Топпи? Все громче жужжали пчелы, весь мой улей гудел – и вдруг тысячи лиц, смуглых и белых, красивых и страшных, завертелись передо Мною, – вдруг тысячи тысяч голосов, шумов, криков, смеха и стонов оглушили Меня. Нет, это уже не был улей: это была огромная огненная кузница, в которой тяжкие молоты ковали оружие и разбрасывали красные искры. Железо!

Конечно, если Я уже раньше *жил* в Риме, то Я был одним из его императоров. Я *помню* выражение моего лица, Я помню движение моей голой шеи, когда Я поворачиваю голову и смотрю, Я помню прикосновение золотого венка к моему *плешивому* темени... Железо! Это шаги железных римских легионов, это их железный голос:

– Vivat Caesar!¹

Но Мне становится все жарче. Я горю. Или Я не был императором, а лишь одной из «жертв» пожара, когда горел Рим по великолепному замыслу Нерона? Нет, это не пожар – это костер, на котором стою Я. *Слышу*, как змейками шипят язычки огня у моих ног. *Помню*, как, напрягаясь, вытягивается вперед моя жилистая шея и в гортани нарастает по-

¹ Да здравствует Цезарь! (*лат.*)

следний крик проклятия... или благословения? Подумай: Я помню даже ту римскую рожу в первом ряду зрителей, которая еще *тогда* не давала Мне покоя своим идиотским выражением и сонными глазами: Меня жгут, а он спит!

– Отель «Интернациональ», – возгласил Топпи, и Я открыл глаза.

Мы поднимались в гору по тихой улице, и в конце ее сиял огнями огромный дом, достойный, пожалуй, даже Нью-Йорка: это был отель, в котором еще давно по телеграфу для Меня было заказано помещение. Вероятно, там считали нас погибшими при катастрофе. Мой костер погас, Мне стало весело, как негру, удравшему от работы, и Я шепнул Топпи:

– Ну, Топпи, а как... Мадонна?

– Д-да, интересно. Я сразу даже испугался и подавился...

– Костью? Ты глуп, Топпи: она вежлива и не узнала тебя, просто приняла тебя за одного из своих знакомых святых. Но как жаль, старина, что мы выбрали для себя такие унылые американские рожи: ведь, поискав хорошенько, мы могли бы вочеловечиться в красавцев!

– Я своею доволен, – угрюмо сказал Топпи и отвернулся, – и на его уныло свисшем глянцевином носу мелькнул отблеск тайного самодовольства... ах, Топпи! Ах, святой!

Но нас уже восторженно встречали.

14 февраля

Рим, отель «Интернациональ»

Я не хочу ехать к Магнусу, Я *слишком* много думаю о нем и о его Мадонне из мяса и костей. Я пришел сюда, чтобы весело лгать и играть, и Мне вовсе не нравится быть тем бездарным актериком, что горько плачет за кулисами, а на сцену выходит с сухими глазами. И просто Мне некогда разъезжать по пустырям и ловить там бабочек, как мальчику с сеткой!

Весь Рим шумит вокруг Меня. Я необыкновенный человек, который любит людей, и Я знаменит, ко Мне текут на поклонение не меньшие толпы, чем к самому наместнику Христа. Два папы сразу... Да, счастливый Рим не может назваться сиротою! Сейчас Я живу в отеле, где все стонет от восторга, когда Я выставлю на ночь ботинки, но для Меня уже реставрируется и отделяется дворец: историческая вилла Орсини. Художники, скульпторы и поэты. Один мазилка уже пишет с Меня портрет, уверяя, что Я *напоминаю* ему одного из Меддичисов, остальные мазилки острят кисти, чтобы на смерть проткнуть его. Я спрашиваю его:

– А вы можете написать Мадонну?

Конечно, он может. Это он, если синьор помнит, написал того знаменитого турка на коробке с сигарами, который известен даже в Америке. Если синьор желает... Теперь уже три мазилки пишут Мне Мадонну, остальные бегают по Риму и ищут оригинал, «натуру», как они выражаются. Одному Я сказал с самым грубым, варварским, американским непониманием задач высокого искусства:

– Но если вы найдете такую натуру, синьор художник, то просто приведите ее ко Мне. Зачем тратить краски и полотно?

Он даже скорчился от невыносимой боли и еле пробормотал:

– Ах, синьор!.. Натуру?!

Кажется, он принял Меня за торговца или покупателя «живого товара». Но, глупый, зачем Мне твое посредничество, за которое Я должен платить комиссионные, когда в моих передних целая витрина римских красавиц? Они все обожают Меня. Им Я *напоминаю* Савонаролу, и каждый темный угол в гостиной с мягкой софой они стремятся немедленно превратить в... исповедальню. Мне нравится, что эти знатные дамы, как и художники, так хорошо знают отечественную историю и сразу догадываются, кто Я.

Радость римских газет, узнавших, что Я не погиб при катастрофе и не потерял ни ноги, ни миллиардов, равнялась радости иерусалимских газет в день неожиданного воскресения Христа... впрочем, у тех было меньше основания радоваться, насколько Я помню историю. Я боялся, что *напомню* журналистам Ю. Цезаря, но, к счастью, они мало думают о прошлом, и все ограничилось только моим сходством с президентом Вильсоном... Мошенники, они льстили моему американскому патриотизму! Однако большинству Я *напоминаю* пророка, но какого, они скромно умалчивают, во всяком случае только не Магомета: мое отвращение к браку

известно во всех телеграфных конторах.

Трудно представить ту дрянь, которой Я кормлю моих голодных интервьюеров. Как опытный свиновод, Я с ужасом смотрю на эту ядовитую бурду, но они едят – и живы, хотя это правда – не толстеют нисколько! Вчера, в чудесное утро, Я летал на аэроплане над Римом и *Кампаньей*... Ты хочешь спросить, видел ли Я домик Марии? Нет, Я его не нашел: как можно найти песчинку среди других песчинок, хотя бы эта единственная песчинка и... Впрочем, Я и не искал: Мне просто было страшно на этой высоте.

Но мои славные интервьюеры, перебиравшие внизу ногами от нетерпения, были поражены моим мужеством и хладнокровием. Один здоровенный и сердитый бородач, *напомнивший* Мне Ганнибала, первый овладел Мною и спросил:

– Не правда ли, м-р Вандергуд, – сознание, что вы парите в воздухе и завоевали эту непокорную стихию, наполнило вас чувством гордости за человека, который завоевал...

Он повторил сначала, чтобы Я лучше запомнил: они все, кажется, не особенно доверяют моему уму и подсказывают приличные ответы. Но Я развел руками и горестно воскликнул:

– Представьте, синьор, нет! Я раз только испытал чувство гордости за человека, и это было... в уборной парохода «Атлантик».

– О!! В уборной! Но что же случилось? Буря, и вы были поражены гением человека, который завоевал...

– *Особенного* ничего не случилось. Но Я был поражен гением человека, который из такой отвратительной необходимости, как уборная, сумел сделать истинный дворец!

– О?!

– Истинный храм, в котором вы первосвященник!

– Позвольте записать? Это такой... такое оригинальное освещение вопроса...

А сегодня *это* кушал весь Вечный город. И Меня не только не выслали из города, но как раз сегодня Мне были сделаны первые *официальные* визиты: что-то вроде министра, или посла, или другого придворного повара долго посыпало Меня сахаром и корицей, как пудинг. Сегодня же Я возвратил визиты: эти вещи неприятно задерживать у себя.

Надо ли говорить, что у Меня уже есть племянник? У каждого американца в Европе есть племянник, и мой не хуже других. Его также зовут Вандергудом, он служит в каком-то посольстве, очень приличен, и его плешивое темя так напомажено, что мой поцелуй мог бы стать целым завтраком, если бы Я любил пахучее сало. Но надо кое-чем и жертвовать, и особенно обонянием. Мне поцелуй не стоит ни цента, а молодому человеку он открыл широкий кредит на новые духи и мыло.

Но довольно! Когда Я смотрю на этих джентльменов и леди и *припоминаю*, что они были *такими* еще при дворе Ашурбанипала и что все две тысячи лет серебряники Иуды продолжают приносить проценты, как и его поцелуй, – Мне

становится скучным участвовать в старой и заезженной пьесе. Ах, Я хочу великой игры, где само солнце было бы рампой, Я ищу свежести и таланта, Мне нужна красивая линия и смелый излом, а с этой труппой Я веселюсь не больше старого капельдинера. Или это только статисты? Но порою Мне начинает казаться, что решительно не стоило для *этого* предпринимать такое далекое путешествие и менять... старый пышный, красочный ад на его дряннейшую репродукцию. Как жаль, говоря правду, что Магнус и его Мадонна не хотят немного поиграть со Мною... мы бы поиграли немножко... совсем немного!

Лишь одно утро Мне удалось провести с интересом и даже в волнении. Какая-то «свободная» церковка, собрание очень серьезных дам и мужчин, желающих верить по-своему, пригласила Меня прочесть воскресную проповедь. Я надел черный сюртук, в котором Я *напоминаю*... Топпи, и проделал перед зеркалом несколько особенно выразительных жестов и выражений лица, потом в автомобиле, как пророк-модерн, примчался в собрание. Темой моей, или «текстом», было обращение Иисуса к богатому юноше с предложением раздать все свое имение нищим – и в полчаса, как дважды два четыре, Я доказал, что любовь к ближним наилучшее помещение для капитала. Как практичный и осторожный американец, Я указал, что нет надобности хвататься за целое Царство Небесное и сразу бросать весь капитал, а можно небольшими взносами и рассрочкой приобретать в

нем участки – «сухой, на высокой горе, с дивным видом на окрестности». Лица верующих приобрели сосредоточенное выражение: видимо, они вычисляли – и сразу прояснились: Царство Божие на *этих* условиях приходилось каждому по карману. К несчастью, в собрании присутствовало несколько слишком сообразительных моих соотечественников, и один уже поднялся, чтобы предложить акционерную компанию... целым фонтаном чувствительности Я с трудом загасил его религиозно-практический жар! О чем Я не говорил? Я ныл о моем грустном детстве, проведенном в труде и лишениях, Я завывал о моем бедном отце, погибшем на спичечной фабрике, Я тихо скулил о всех моих братьях и сестрах во Христе, и здесь мы развели такое болото, что журналисты запаслись утками на полгода. Как мы плакали!

Дрожь прохватила Меня от сырости, и решительным жестом Я хватил в барабан моих миллиардов: дум-дум! Все для людей, ни одного цента себе: дум-дум! С наглостью, достойной палок, Я закончил «словами незабвенного Учителя»:

– Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас!

Ах, как жаль, что Я лишен возможности творить чудеса! Маленькое и практическое чудо, вроде превращения воды в графинах в кисленькое кианти или нескольких слушателей в паштеты, было совсем не лишним в эту минуту... Ты смеешься или негодуешь, мой земной читатель? Не надо ни того, ни другого. Помни, что *необыкновенное* невыразимо на тво-

ем чревовещательском языке, и мои слова только проклятая маска моих мыслей.

Мария!

О моем успехе прочти в газетах. Но один шут несколько испортил Мне настроение: это был член Армии Спасения, предложивший Мне немедленно взять трубу и вести Армию в бой... это были слишком дешевые лавры, и Я выгнал его и его Армию вон. Но Топпи!.. Всю дорогу домой он торжественно молчал, и, наконец, сказал Мне угрюмо и почтительно:

– Сегодня вы были в большом ударе, м-р Вандергуд. Я даже заплакал. Жаль, что вас не слышал Магнус и его дочь... та, понимаете? Она изменила бы о нас свое мнение.

Ты понимаешь, что Мне искренне захотелось выбросить неудачного поклонника из кареты! Я снова почувствовал в своем зрачке всепроникающий взгляд Ее очей – и буфетчик в баре не открывает так быстро коробку с консервами, как снова Я был вскрыт, разложен на тарелке и предложен вниманию всей публики, наполнявшей улицу. Я нахлобучил цилиндр, поднял воротник и, *напоминая* с треском провалившегося трагика, молча, не отвечая на поклоны, *удалился* в свои апартаменты. Как Я мог отвечать на поклоны, когда со Мною не было трости?

Я отклонил все сегодняшние приглашения и вечер сижу дома: Я «занят религиозными размышлениями», – так придумал сам Топпи, начавший, кажется, уважать Меня. Пере-

до мною виски и шампанское, Я неторопливо нализываюсь и слушаю отдаленную музыку из обеденного зала, там сегодня какой-то знаменитый концерт. По-видимому, мой Вандергуд был изрядным пьяницей и каждый вечер тащит Меня в кабак, на что Я соглашаюсь. Не все ли равно? К счастью, его хмель веселого свойства, а не мрачного, и *мы* проводим часы недурно.

Сперва *мы* тупыми глазами осматриваем обстановку и нехотя соображаем, сколько все это – бронза, ковры, венецианские зеркала и прочее – может стоить? Пустяки! – решаем *мы* и самодовольно погружаемся в созерцание наших миллиардов, нашей силы и нашего замечательного ума и характера. С каждой рюмкой наше блаженство все полнее и ярче. С наслаждением *мы* купаемся в дешевой роскоши отеля, и – подумай! – Я уже *действительно* начинаю любить бронзу, ковры, стекло и камни. Мой пуританин Топпи осуждает роскошь, она *напоминает* ему Содом и Гоморру, но Мне уже трудно было бы расстаться с этими маленькими чувственными удовольствиями... как глупо, подумай!

Дальше *мы* тупо и самодовольно слушаем музыку и не в тон подпеваем незнакомым вещам. Маленькое назидательное размышление о декольте дам, если они есть, и слишком твердыми ногами *мы* наконец идем в опочивальню. Но что иногда случается со *Мною*?

Вот сейчас... *мы* уже собирались спать, как вдруг какой-то неосторожный удар смычка, и Я мгновенно весь

наполняюсь вихрем бурных слез, любви и какой тоски! Необыкновенное становится выразимым, Я широк, как пространство, Я глубок, как вечность, и в едином дыхании моем Я вмещаю все! Но какая тоска! Но какая любовь! *Мария!*

Но ведь Я только подземное озеро в животе Вандергуда, и мои бури нисколько не колеблют его твердой поступи. Но ведь Я лишь солитер в его желудке, от которого он тщетно ищет лекарства! *Мы* звоним и приказываем камерьеру:

– Соды!

Я просто пьян. А риведерчи, синьор, буона notte!²

18 февраля 1914 г.

Рим, отель «Интернациональ»

Вчера Я был у Магнуса. Он довольно-таки долго заставил Меня ждать в саду и вышел с таким видом холодного равнодушия, что Мне сразу захотелось уехать. В черной бороде Я заметил несколько седых волос, которых не видел раньше. Или Мария нездорова? Я обеспокоился. *Здесь* все так непрочно, что, расставшись с человеком на час, можешь потом разыскивать его в вечности.

– Мария здорова, благодарю вас, – холодно ответил Магнус, и в глазах его мелькнуло удивление, как будто мой вопрос был дерзостью или неприличием. – А как ваши дела, м-р Вандергуд? Римские газеты полны вами, вы имеете успех.

² До свидания, синьор, покойной ночи (*unt. – A rivederci, signore, buona notte*).

С горечью, усиленной отсутствием Марии, Я поведал Магнусу о моем разочаровании и скуке. Я говорил недурно, не без сарказма и остроумия: Меня все более раздражали невнимание и скука, всеми буквами написанные на утомленном и бледном лице Магнуса. Он ни разу не улыбнулся, не переспросил Меня, а когда Я дошел до моего «племянника» Вандергуда, он брезгливо поморщился и нехотя вымолвил:

– Фи! Но ведь это простой фарс из «Варьете». Как вы можете заниматься такими пустяками, м-р Вандергуд?

Я горячо возразил:

– Но ведь это не Я занимаюсь, синьор Магнус!

– А интервьюеры? А этот ваш полет? Вы должны их гнать, м-р Вандергуд, это унижает... ваши три миллиарда. Это правда, что вы читали какую-то проповедь?

Воодушевление игры покинуло Меня. Нехотя, как нехотя слушал Магнус, Я рассказал ему о проповеди и этих серьезно верующих, которые глотают кощунство, как мармелад.

– А разве вы ожидали чего-нибудь другого, м-р Вандергуд?

– Я ожидал, что Меня побьют палками за наглость. Когда Я кощунственно пародировал эти красивые слова Евангелия...

– Да, это красивые слова, – согласился Магнус. – Но разве вы до сих пор не знали, что всякое богослужение и всякая ихняя вера кощунство? Если простая облатка у них называется телом Христовым, а какой-нибудь Сикст или Пий

спокойно и с доброго согласия всех католиков зовет себя наместником Христа, то отчего же и вам, американцу из Иллинойса, не быть его... хотя бы губернатором? Это не кощунство, м-р Вандергуд, это просто аллегории, необходимые для грубых голов, и вы напрасно расточаете ваш гнев. Но когда же вы приступите к делу?

С хорошо сделанной грустью Я развел руками:

– Я хочу делать, но Я не знаю, что делать. Вероятно, не приступлю до тех пор, пока вы, Магнус, не решитесь оказать Мне помощь.

Он хмуρο взглянул на свои большие, неподвижные, белые руки, потом на Меня:

– Вы слишком доверчивы, м-р Вандергуд, это большой недостаток... при трех миллиардах. Нет, я для вас не гожусь. У нас разные дороги.

– Но, дорогой Магнус!..

Мне показалось, что он ударит Меня за это нежнейшее «дорогой», которое Я пропел наилучшим фальцетом. Но раз дело доходит до бокса, то отчего не говорить дальше? Со всею сладостью, какая скопилась у Меня в Риме, Я посмотрел на хмурую физиономию моего друга и еще более нежным фальцетом пропел:

– А какой вы национальности, дорогой... синьор Магнус? Мне почему-то кажется, что вы не итальянец.

Он равнодушно ответил:

– Да, я не итальянец.

– Но ваше отечество...

– Мое отечество?.. *omne solum liberum libero patria*. – Вы, вероятно, не знаете латыни? Это значит, м-р Вандергуд: всякая свобода – отечество для свободного человека. Не хотите ли позавтракать *со мною*?

Приглашение было сделано таким ледяным тоном и отсутствием Марии было так густо подчеркнуто, что Я был вынужден вежливо отказаться. Черт его возьми, этого человечка!

Мне было вовсе не весело в то утро. Мне искренне хотелось дружески поплакать в его жилет, а он на корню сунул все мои благородные порывы. Вздохнув и сделав лицо содержательным, как уголовный роман, Я перешел на другую роль, приготовленную, собственно, для Марии, – понизив голос, Я сказал:

– Хочу быть откровенным с вами, синьор Магнус. В моем... прошлом есть темные страницы, которые Я хотел бы искупить. Я...

Он быстро перебил Меня:

– Во всяком прошлом есть темные страницы, м-р Вандергуд, и я сам не настолько безупречен, чтобы принять исповедь такого достойного джентльмена. Я плохой духовник, – добавил он с самой неприятной усмешкой, – *я не прощаю* кающихся, а при этом условии где же сладость исповеди? Лучше расскажите мне что-нибудь еще о... вашем племяннике. Он молод?

Мы поговорили о племяннике, и Магнус вежливо улыбал-

ся. Потом мы помолчали. Потом Магнус спросил, был ли Я в Ватиканской галерее, – и Я откланялся, передав мой привет синьорине Марии. Признаться, Я имел довольно жалкий вид и почувствовал живейшую благодарность к Магнусу, когда он сказал на прощанье:

– Не сердитесь на меня, м-р Вандергуд. Я несколько нездоров сегодня и... немного озабочен своими делами. Просто некоторый припадок мизантропии. В другой раз надеюсь быть более приятным собеседником, а за сегодняшнее утро извините. Я передам ваш привет Марии.

Если этот чернобородый молодец *играл*, то надо признаться, Я нашел достойного партнера! Дюжина негритянских ребят не могла бы слизать с моего лица той патоки, которую вызвало на нем одно только скупое обещание Магнуса – передать мой привет Марии. До самого отеля Я идиотски улыбался кожаной спине моего шофера и осчастливил Топпи поцелуем в темя; каналья все еще пахнет мехом, как молодой чертенок!

– Вижу, что вы съездили недаром, – многозначительно сказал Топпи. – Как поживает та... дочь Магнуса, вы понимаете?

– Прекрасно, Топпи, прекрасно. Она нашла, что Я *напоминаю* красотой и мудростью царя Соломона!

Топпи благосклонно ухмыльнулся на мою неудачную остроуту, а с Меня сразу сползла вся патока, и сахар заменился укусом и желчью. Я заперся у себя и на долгое время

предался холодному гневу на Сатану, который влюбляется в женщину.

Когда ты влюбляешься в женщину, мой земной товарищ, и тебя начинает трясти лихорадка любви, ты считаешь себя оригинальным? А Я нет. Я вижу все легионы пар, начиная с Адама и Евы, Я вижу их поцелуи и ласки, слышу их слова, проклятые проклятием однообразия, и Мне становится ненавистным мой рот, смеющийся шептать чужие шепоты, мои глаза, повторяющие чужие взоры, мое сердце, покорно поддающееся дешевому заводному ключу. Я вижу всех спарившихся животных в их мычании и ласках, проклятых проклятием однообразия, и Мне становится омерзительной эта податливая масса моих костей, мяса и нервов, это проклятое тесто *для всех*. Берегись, Вочеловечившийся, на Тебя надвигается обман!

Не хочешь ли взять себе Марию, земной товарищ? Возьми ее. Она твоя, а не моя. Ах, если бы Мария была моей рабыней, Я надел бы ей веревку на шею и, нагую, вывел бы на базар: кто покупает? Кто даст Мне больше за неземную красоту? Ах, не обижайте бедного слепого торговца: шире раскрывайте кошельки, громче звените золотом, щедрые господа!..

Что, она не хочет идти? Не бойся, господин, она пойдет и будет любить тебя... это просто девичий стыд, господин! Вот Я подстегну ее этим концом веревки – хочешь, Я доведу ее до твоей опочивальни, до самого твоего ложа, добрый

господин? Возьми ее с веревкой, веревку Я отдаю даром, но избавь Меня от небесной красоты! У нее лицо пресветлой Мадонны, она дочь почтеннейшего Фомы Магнуса, и они оба украли: один свое имя и белые руки, другая – свой пречистый лик! Ах!..

Но, кажется, Я начинаю играть уже с тобой, мой дорогой читатель? Это ошибка: Я просто взял не ту тетрадку. Нет, это не ошибка, это хуже. Я играю оттого, что мое одиночество очень велико, очень глубоко, – боюсь, что оно не имеет дна совсем! Я становлюсь на край пропасти и бросаю туда слова, множество тяжелых слов, но они падают без звука. Я бросаю туда смех, угрозы и рыдания. Я плюю в нее, Я свергаю в нее груды камней, глыбы утесов, Я низвергаю в нее горы – а там все пусто и глухо. Нет, положительно, у этой пропасти нет дна, товарищ, и мы напрасно трудимся с тобою и потеем!

...Но Я вижу твою улыбку и твое хитрое подмаргиванье: ты *понял*, почему Я так кисло заговорил об одиночестве... ах, эта любовь! И ты хочешь спросить: есть ли у Меня любовницы?

Есть. Две. Одна русская графиня, другая итальянская графиня. Они различаются духами, но это такая несущественная разница, что Я одинаково люблю обеих.

Ты еще хочешь спросить, поеду ли Я к Фоме Магнусу?

Да, Я поеду к Фоме Магнусу, Я очень люблю его. Это пустяки, что у него вымышленное имя и что дочь его имеет дерзость походить на Мадонну. Я сам недостаточно Вандер-

гуд, для того чтобы быть особенно придирчивым к именам, — и Я сам слишком *вочеловечился*, чтобы не простить другому попытки *обожествиться*.

Клянусь вечным спасением, одно вполне стоит другого!

21 февраля 1914 г.

Рим, вилла Орсини

Меня посетил кардинал X., ближайший друг и наперсник папы и, как говорят, его наиболее вероятный преемник. Его сопровождали два аббата, и, вообще, это очень важная особа, визит которой приносит Мне немалую честь.

Я встретил его преосвященство в приемной моего нового дворца и успел заметить, как нырял Топпи под руками священников и кардинала, срывая благословения быстрее, чем ловелас поцелуи у красоток. Шесть благочестивых рук едва успевали справиться с одним Чертом, которым овладело благочестие, и уже на пороге в мой кабинет он еще раз успел ткнуться в живот кардиналу. Экстаз!

Кардинал X. говорит на всех европейских языках и, из уважения к звездному флагу и миллиардам, наш разговор вел по-английски. Начался разговор с того, что его преосвященство поздравил Меня с приобретением виллы Орсини, во всех подробностях за двести лет рассказал Мне историю моего жилища. Это было неожиданно, очень длинно, местами не совсем понятно и заставило Меня, как истинного аме-

риканского осла, уныло хлопать ушами... но зато Я хорошо рассмотрел моего важного и слишком ученого посетителя.

Он еще совсем не стар, широк в плечах, приземист и, видимо, вообще крепкого телосложения и здоровья. Лицо у него крупное и почти квадратное; слегка оливковый цвет и густая синева на бритых местах, такие же смуглые, но очень тонкие и красивые руки свидетельствуют о его испанской крови, – до того, как посвятить себя Богу, кардинал Х. был испанским грандом и герцогом. Но черные глаза очень малы и слишком глубоко посажены под густые брови, но расстояние между коротким носом и тонкими губами слишком велико... и Мне это напоминает кого-то. Но кого? И что это за странная манера непременно кого-нибудь *напоминать*? Какого-нибудь святого, конечно?

На мгновение кардинал задумался, и вдруг Я ясно вспомнил: да это просто старая бритая обезьяна! Это *ее* торжественно-печальная бездонная задумчивость, это *ее* злой огонек в узеньком зрачке! Но уже в следующее мгновение кардинал смеялся, играл лицом и жестами, как неаполитанский лаццароне, – он не рассказывал Мне историю дворца, он играл, он представлял *ее* в лицах и драматических монологах! У него короткие, совсем не обезьяньи ручки, и, когда он взмахивает ими, он похож скорее на пингвина, а голос его напоминает говорящего попугая, – кто же ты, наконец?

Нет, обезьяна! Вот он снова засмеялся, и Я вижу, что он *не умеет* смеяться. Словно только вчера он научился этому

человеческому искусству, очень любит смех, но каждый раз с трудом находит его в своей неприспособленной гортани, давится звуками, кудахтает, почти стонет. Нельзя не вторить этому странному *смеху*, он заразителен, но уже скоро начинает ломить челюсти, зубы и мускулы деревенеют.

Это было замечательно, Я положительно увлекся созерцанием, когда кардинал Х. внезапно оборвал свою лекцию о вилле Орсини припадком стонущего смеха и спокойно замолчал. Перебирал четки тонкими пальцами, спокойно молчал и смотрел на Меня с выражением глубочайшей преданности и нежнейшей любви: что-то вроде слез засветилось в его черных глазках – так Я ему нравился, так он любил Меня! Сбитый с мыслей внезапной остановкой, когда поезд гнал под уклон, Я тоже молчал и – что же делать! – также нежно смотрел на его квадратное обезьянье лицо. Нежность переходила в любовь, любовь становилась страстью, а мы все молчали... еще мгновение, и мы задушим друг друга в объятьях!

– Вот вы и в Риме, м-р Вандергуд, – сладко пропела старая обезьяна, не меняя своего любовного взора.

– Вот Я и в Риме, – покорно согласился Я, продолжая смотреть с тою же греховной страстью.

– А вы знаете, м-р Вандергуд, зачем я к вам приехал? – кроме, конечно, удовольствия познакомиться и т. д.?

Я подумал и с тем же пылким взглядом ответил:

– За деньгами, ваше преосвященство?

Кардинал коротко взмахнул крылышками, засмеялся, похлопал себя по коленке и снова застыл в любовном созерцании моего носа. Это немое обожание, на которое Я отвечал удвоенной страстью, начало приводить Меня в очень странное состояние. Я нарочно рассказываю тебе так подробно, чтобы ты понял мое желание в эту минуту пойти колесом, запеть петухом, рассказать наилучший арканзасский анекдот или попросту предложить его преосвященству снять сутану и дружески поиграть в чехарду!

– Ваше преосвященство...

– Я очень люблю американцев, м-р Вандергуд.

– Ваше преосвященство! В Арканзасе рассказывают...

– Но вы хотите скорее к делу? Я понимаю ваше нетерпение – денежные дела любят поспешность, не так ли?

– Смотря по тому, на каком стуле вы сидите, ваше преосвященство.

Квадратное лицо кардинала стало серьезным, и в глазах мелькнул любовный укор:

– Не гневайтесь на мое увлечение, м-р Вандергуд. Я так люблю историю нашего великого города, что не мог отказать себе в удовольствии... Разве то, что вы видите теперь, есть Рим? Рима нет, м-р Вандергуд. Когда-то это было вечным городом, а теперь это лишь большой город, и чем он больше, тем он дальше от вечности. Где тот великий Дух, который осенял его?

Я не стану передавать тебе всей болтовни фиолетового по-

пугая, его нежно-каннибальских взглядов, кривляний и смеха. Вот что сказала Мне старая бритая обезьяна, когда наконец угомонилась:

– Ваше несчастье в том, м-р Вандергуд, что вы слишком любите людей...

– Возлюби ближнего...

– Ну и пусть *ближние* любят друг друга, учите их этому, внушайте, приказывайте, но зачем это *вам*? Когда слишком любят, то не замечают недостатков любимого предмета, и еще хуже: их охотно возводят в достоинства. Как же вы будете исправлять людей, делать их счастливыми, *не зная* их недостатков, пороки принимая за добродетели? Когда любят, то и жалеют, а жалость убивает силу. Видите, я вполне откровенен с вами, м-р Вандергуд, и еще раз скажу: любовь – это бессилие. Любовь вытащит у вас деньги из кармана и потратит их... на румяна! Предоставьте тем, кто на низу, любить друг друга, требуйте от них этого, но *вы*, вознесенный так высоко, одаренный таким могуществом!..

– Но что же Мне делать, ваше преосвященство? Я теряюсь. С детства, и именно в церкви, мне твердили о необходимости любви, Я поверил, и вот...

Кардинал задумался. Как и смех, задумчивость приходила к нему внезапно и сразу делала его квадратное лицо немым, скорбно унылым и немного наивно-торжественным. Выпятив вперед и склеив свои тонкие губы, опершись подбородком на ладонь, он неподвижно уставил на Меня свои острые

запавшие глаза, и в них была печаль. Он словно ждал окончания моей фразы и, не дождавшись, вздохнул и замигал глазами.

– Детство, да... – пробормотал он, все так же печально моргая, – дети, да. Но ведь теперь вы не дитя? Забудьте, вот и все. Чудесный дар забвения, знаете?

Он слегка оскалил белые зубы и многозначительно почесал нос тонким пальцем. И продолжал серьезно:

– Но это все равно, м-р Вандергуд, *вы* сами ничего сделать не можете... да, да! Надо *знать* людей, чтобы сделать их счастливыми, – ведь это ваша благородная задача? – а *знает* людей только Церковь. Она мать и воспитательница в течение многих тысяч лет, и ее опыт *единственный* и, могу сказать, непогрешимый. Насколько я знаком с вашей жизнью, вы опытный скотовод, м-р Вандергуд? И, конечно, вы знаете, что такое *опыт* даже по отношению к таким несложным существам, как...

– Как свиньи.

Он испуганно мигнул на Меня глазами – и вдруг залаял, закудахтал, завыл: это он смеялся.

– Свиньи? Это очень хорошо, это великолепно, м-р Вандергуд, но не забудьте, что в них иногда вселяются бесы!

Покончив с своим смехом, он продолжал:

– Уча, мы учимся сами. Я не скажу, чтобы все методы воспитания и исправления, которые применяла Церковь, были одинаково удачны. Нет, мы часто ошибались, но каждая на-

ша ошибка вела к упорядочению наших приемов... Мы совершенствуемся, м-р Вандергуд, мы совершенствуемся!

Я намекнул на быстрый рост рационализма, который в самом близком будущем грозит гибелью «усовершенствованной» церкви, но кардинал Х. снова замахал короткими обрубками крыльев и положительно завыл от смеха:

– Рационализм! Да у вас несомненный талант юмориста, м-р Вандергуд! Скажите, известный Марк Твен не ваш ли соотечественник?.. Да, да! Рационализм! А вы припоминаете, от какого слова это происходит и что значит ratio? An nescis, mi fili, quantilla sapientia regitur orbis?³ Ах, дорогой Вандергуд, говорить на этой земле о рации еще более неуместно, нежели упоминать о веревке в доме повешенного!

Я смотрел на эту старую обезьяну, как она веселилась, и Мне самому становилось весело. Я вглядывался в эту смесь мартышки, говорящего попугая, пингвина, лисицы, волка, – и что еще там есть? – и Мне самому стало смешно: Я люблю веселых самоубийц. Мы еще долго потешались над несчастным *рацио*, пока его преосвященство не успокоилось и не перешел в наставительный тон:

– Как антисемитизм есть социализм дураков...

– А вы знакомы и?..

– Ведь мы же совершенствуемся!.. так и рационализм есть ум глупцов. Только безнадежный глупец *останавливается*

³ Разум? Разве ты не знаешь, сын мой, сколь мала мудрость, царящая в мире? (лат.)

на рацию, а умный идет дальше. Да и для отпетого глушца его рацию лишь праздничное платье, этот всеобщий пиджак, который он надевает для людей, а живет он, спит, работает, любит и *умирает*, воя от ужаса, без всякого рацию. Вы боитесь смерти, м-р Вандергуд?

Мне не хотелось отвечать, и Я промолчал.

– Напрасно стесняетесь, м-р Вандергуд: *ее* и следует бояться. А пока есть *смерть*...

Вдруг лицо бритой обезьяны стало плаксивым и в глазах выразились ужас и злоба: точно кто-нибудь схватил ее за шиворот и сразу бросил назад, в глушь, тьму и ужас первобытного леса. Он *боялся* смерти, и страх его был темен, зол и безграничен. И Мне не надо было слов и доказательств: достаточно было только взглянуть на это искаженное, помутневшее, потерянное лицо *человека*, чтобы низко и всеподданнейше поклониться Великому Иррациональному. Но какова сила *ихней* стадности: мой Вандергуд также побледнел и скорчился... ах, мошенник! Теперь он просил защиты и помощи у Меня!

– Не хотите ли вина, ваше преосвященство?

Но преосвященство уже опомнилось. Оно скривило тонкие губы в улыбку и отрицательно помотало головой – по виду, тяжеловатой-таки. И вдруг воспрянуло с неожиданной силой:

– И пока есть смерть, Церковь незыблема! Качайте ее все, подкапывайтесь, валите, взрывайте – вам ее не повалить. А

если бы это и случилось, то первыми под развалинами погибнете вы. Кто тогда защитит вас от смерти? Кто *тогда* даст вам сладкую веру в бессмертие, в вечную жизнь, в вечное блаженство?.. Поверьте, м-р Вандергуд, мир вовсе, вовсе не хочет вашего радио, это недоразумение!

– А чего же он хочет, ваше преосвященство?

– Чего он хочет? *Mundus vult decipi*... Вы знаете нашу латынь? Мир хочет быть обманут!

И старая обезьяна снова развеселилась, замигала, закривлялась, ударила себя по коленям и захлебнулась в стонущем смехе. Я тоже засмеялся: так потешен был этот старый шулер, раскладывающий пасьянс каплеными картами.

– И именно вы, – сказал Я, смеясь, – и хотите обмануть его?

Кардинал Х. стал снова серьезен и печально сказал:

– Святой престол нуждается в деньгах, м-р Вандергуд. Мир если и не стал рационалистом, то сделался недоверчивее, и с ним трудненько-таки ладить. – Он искренне вздохнул и продолжал: – Вы не социалист, м-р Вандергуд?.. Ах, не стесняйтесь, мы все теперь социалисты, мы теперь на стороне голодных. Пусть кушают побольше: чем они будут сытее, тем *смерть*, понимаете?..

Он широко, насколько мог, развел руки, изображая вершу, в которую бежит рыба, и оскалился:

– Ведь мы рыбаки, м-р Вандергуд, скромные рыбаки!.. А скажите: стремление к *свободе* вы почитаете пороком или

добродетелью?

– Весь цивилизованный мир считает стремление к свободе добродетелью, – возмущенно отозвался Я.

– Я и не ожидал иного ответа от гражданина Соединенных Штатов. А вы лично не думаете ли, что тот, кто принесет человеку безграничную *свободу*, тот принесет ему и *смерть*? Ведь только *смерть* развязывает все земные узы, и не кажутся ли вам эти слова – свобода и смерть – простыми синонимами?

В этот раз старой обезьяне удалось довольно-таки ловко кольнуть Меня под седьмое ребро. Я вспомнил моего Вандергуда, справился с моим счетчиком и уклончиво ответил:

– Я говорю о политической свободе.

– О политической? О, это пожалуйста! Это сколько угодно! Конечно... если они сами захотят ее. Захотят, вы уверены? О, тогда пожалуйста, сколько угодно! Это вздор и клевета, что Св. престол всегда за реакцию, и как там... Я имел честь присутствовать на балконе Ватикана, когда его святейшество благословил первый французский аэроплан, показавшийся над Римом, а следующий папа – я убежден – с охотой благословит баррикады. Времена Галилеев прошли, м-р Вандергуд, и мы все теперь хорошо знаем, что Земля вращается!

Он повертел пальцами, изображая, как вращается Земля, и дружески подмигнул, давая и Мне долю в своей шулерской игре. Я с достоинством сказал:

– Позвольте Мне подумать о вашем предложении, ваше преосвященство.

Кардинал Х. быстро вскочил с кресла и нежно, двумя аристократическими пальцами, коснулся моего плеча:

– О, я не тороплю вас, добрейший м-р Вандергуд, это *вы* меня торопили. Я даже уверен, что вначале вы откажете мне, но когда вы маленьким опытом убедитесь, что нужно для *счастья* человека... Ведь я и сам его люблю, м-р Вандергуд, правда, не так страстно и...

И с теми же кривляньями он удалился, торжественно волоча свою сутану и раздавая благословения. Но в мое окно Я еще раз увидел его у подъезда, пока подавалась замедлившая карета: он что-то говорил вполоборота одному из своих аббатов, в его почтительно склоненную черную тарелку, и лицо его уже не напоминало старой обезьяны: скорее это было мордой бритого, голодного и утомленного льва. Этот талантливый малый не нуждался в уборной для грима! А позади него стоял высокий, весь в черном лакей, похожий на молодого английского баронета, и всякий раз, когда взор его преосвященства случайно скользил по его лицу и фигуре, он слегка приподнимал свой черный матовый цилиндр.

По отъезде его преосвященства Меня окружили радостной толпой мои друзья, которыми Я, во избежание одиночества и скуки, набил задние комнаты моего дворца. Топпи был горд и спокойно счастлив: он так насытился благосло-

вениями, что казался даже пополневшим. Художники, декораторы, реставраторы и как их там еще? – были *польщены* визитом кардинала и с чувством говорили о необыкновенной выразительности его лица, о величественности его манер: о, это гранде синьор! Сам папа... Но когда Я с наивностью краснокожего заметил, что Мне он *напоминает* старую бритую обезьяну, эти хитрые каналы разразились веселым смехом, и кто-то быстро набросал превосходный портрет кардинала Х... в клетке. Я не моралист, чтобы судить людей за их маленькие грешки: им и так порядочно достанется на Страшном суде! И Мне искренне понравилась талантливость насмешливых бестий. Кажется, все они не особенно верят в мою необыкновенную *любовь к людям*, и если покопаться в их рисунках, то можно, без сомнения, найти недурного Осла-Вандергуда, и это Мне нравится. С моими маленькими и приятными грешниками Я слегка отдыхаю от большого и неприятного праведника... у которого руки в крови.

Потом Топпи спросил Меня:

– А сколько он просит?

– Все.

Топпи решительно сказал:

– Всего не давайте. *Он* обещал сделать меня пономарем, но все-таки много не давайте. Деньги надо беречь.

С Топпи каждый день случаются неприятные истории: его наделяют фальшивыми лирами. Когда это произошло с ним

в первый раз, он имел вид крайнего смущения и покорно выслушал мой *строгий* выговор:

– Ты меня положительно удивляешь, Топпи, – строго сказал Я. – Такому старому Черту неприлично получать фальшивые бумажки от людей и оставаться в дураках. Стыдись, Топпи! И Я боюсь, что ты под конец простопустишь Меня с сумой.

Теперь Топпи, по-прежнему путаясь среди настоящего и поддельного, старается беречь то и другое: в денежных делах он щепетилен, и кардинал напрасно пытался подкупить его. Но Топпи пономарь!..

А бритой обезьяне очень хочется трех миллиардов; видно у Св. престола живот подвело не на шутку. Я долго всматривался в талантливую карикатуру, и она все меньше нравилась Мне; нет, это не то. Хорошо схвачено смешное, но нет того огонька *злости*, который непрерывно пробегает под серым пеплом *ужаса*. Схвачено звериное и человеческое, но оно не слито в ту *необыкновенную* маску, которая теперь, на расстоянии, когда Я не вижу самого кардинала X. и не слышу его трудного хохота, начинает крайне неприятно волновать Меня. Или необыкновенное невыразимо и карандашом?

В сущности, он довольно дешевый мошенник, немного больше простого карманника, и ничего нового не сказал Мне; он не только человекоподобен, но и умоподобен, и оттого так яростен его презрительный смех над истинным радио. Но он показал Мне *себя*, и... не обижайся на мою аме-

риканскую невежливость, читатель, где-то за его широкими плечами, вогнувшимися от страха, мелькнул и твой дорогой образ. Нечто вроде сна, понимаешь: как будто кто-то душил тебя и ты придушенным голосом кричал в небо: караул, стража! Ах, ты не знаешь *третьего*, что не есть ни жизнь, ни смерть, и Я понимаю, *кто* душил тебя своими костлявыми пальцами!

А Я разве *знаю*?

О, посмейся над насмешником, товарищ, кажется, наступает твоя очередь веселиться. А Я разве *знаю*? Из великих глубин Я пришел к тебе, веселый и ясный, одаренный знанием моего Бессмертия... и вот Я уже колеблюсь, и вот Я уже ощущаю трепет перед этой бритой обезьяньей рожей, которая смеет так нагло-величаво выражать свой низкий страх. Ах, Я даже не продал моего Бессмертия: Я просто *приспал* его, как глупая мать до смерти присыпает своего грудного младенца, – оно просто вылиняло под твоим солнцем и дождями, – и оно стало прозрачной материей без рисунка, неспособной прикрыть наготы приличного джентльмена! Гнилое вандергудовское болото, в котором Я сижу до самых глаз, обволакивает Меня тиной, дурманит мое сознание своими ядовитыми парами, душит нестерпимой вонью разложения. Когда ты начинаешь разлагаться, товарищ: на второй, на третий день или смотря по климату? А Я уже разлагаюсь, и Меня тошнит от запаха моих внутренностей. Или ты только принюхался от времени и привычки и работу *червей* при-

нимаешь просто – за подъем мыслей и вдохновения?

Боже мой, но Я забыл, что у Меня могут быть и прекрасные читательницы! Усердно прошу прощения, уважаемые леди, за это неуместное рассуждение о запахах. Я неприятный собеседник, миледи, и Я еще более скверный парфюмер... нет, еще хуже: Я отвратительная помесь Сатаны с американским медведем, и Я совсем не умею ценить вашей благосклонности...

Нет! Я еще Сатана! Я еще *знаю*, что Я бессмертен, и, когда повелит воля моя, сам притяну к своему горлу костлявые пальцы. Но если Я *забуду*?

Тогда Я раздам мое имение нищим и с тобою, товарищ, поползу на поклонение к старой бритой обезьяне, прильну моим американским лицом к ее туфле, от которой исходит благодать. Я буду плакать, Я буду вопить от ужаса: спаси Меня от Смерти! А старая обезьяна, тщательно удалив с лица все волосы, облекшись, сверкая, сияя, озаряя – и сама трясясь от злого ужаса, будет торопливо обманывать мир, который так хочет быть обманутым.

Но это шутки. Я хочу быть серьезен. Мне нравится кардинал Х., и Я позволю ему слегка позолотиться около моих миллиардов. И Я устал. Надо спать. Меня уже поджидают моя постель и Вандергуд. Я закрою свет и в темноте еще минуту буду слушать, как утомленно стучит мой счетчик, а потом придет гениальный, но пьяный пианист и начнет барабанить по черным клавишам моего мозга. Он все помнит

и все забыл, этот гениальный пьяница, и вдохновенные пассажи мешает с икотой.

Это – сон.

II

22 февраля

Рим, вилла Орсини

Магнуса не оказалось дома, и Меня приняла *Мария*. Великое спокойствие снизошло на Меня, великим спокойствием дышу Я сейчас. Как шхуна с опущенными парусами, Я дремлю в полуденном зное заснувшего океана. Ни шороха, ни всплеска. Я боюсь шевельнуться и шире открыть солнечно-слепые глаза, Я боюсь, неосторожно вздохнув, поднять легкую рябь на безграничной глади. И Я тихо кладу перо.

23 февраля, вилла Орсини

Фомы Магнуса не оказалось дома, и Меня, поразив неожиданностью, приняла *Мария*.

Право, это неинтересно, как Я кланялся и что Я там бормотал в первые минуты. Скажу, пожалуй, что Я бормотал несколько невнятнее, чем мог бы, и что Мне ужасно хотелось смеяться. Я долго не поднимал глаз на Марию, пока не передел свои мысли в чистое белье и не высморкал всех своих шаловливых детишек – как видишь, соображение не совсем покинуло Меня!

Но Я напрасно готовил этот плац-парад и тревожил вах-

мистра; *того* испытания не последовало. Взор Марии был прост и ясен, и не было в нем ни пронизывающей силы смертельного света, ни божественного допроса, ни убивающего всепрощения. Он был спокоен и ясен, как небо над Кампаньей, и – Я не знаю, как это случилось, – тою же ясностью озарилась и вся моя преисподняя. Как смутные тени ночного смотря, всколыхнулись и уплыли мои прекрасно построенные солдаты, и стало во Мне светло, пустынно и тихо, стало во Мне радостно радостью пустыни, где доселе не был человек. Милый, прости, что Я становлюсь поэтом, и поблагодари за нежное обращение: милый – это дар Марии, который она шлет через Меня!

Она встретила Меня в саду, и Мы сели у ограды, откуда так хорошо видна Кампанья. Когда смотришь на Кампанью, тогда можно и не болтать пустяков, не правда ли? Нет, это она смотрела на Кампанью, а Я смотрел в Ее глаза, где Я видел и Кампанью, и небо, и еще другое небо – вплоть до седьмого, где ты кончаешь счет всем твоим небесам, человеке. Мы молчали – или говорили, если ты хочешь считать разговором такие вопросы и ответы:

– Это горы синеют?

– Да, это синеют Альбанские горы. Там – Тиволи.

Потом она разыскивала маленькие, как крупинки, белые домики и показывала их Мне, и Я смотрел, и Мне казалось, что и там чувствуют внезапное спокойствие и радость от взора Марии. Подозрительное сходство Марии с Мадонной уже

не тревожило Меня: как Я могу тревожиться, что *ты* похожа на *тебя*? И наступила минута, когда великое спокойствие снизошло на Меня. У Меня нет слов и сравнений, чтобы Я понятно рассказал тебе об этом великом и светлом покое... Мне все лезет в голову эта проклятая шхуна с опущенными парусами, на которой Я никогда не плавал, так как боюсь морской болезни! Не потому ли, что и в этот ночной час моего одиночества мой путь озаряет *Звезда Морей*? Ну да, Я был шхуной, если хочешь, а если не хочешь, то я был *всем*. Кроме того, Я был *ничем*. Видишь, какая это получается чепуха, когда Вандергуд ищет сравнений и слов?

Я так был спокоен, что вскоре перестал даже смотреть в глаза Марии: Я просто *верил* им, – это глубже, чем смотреть.

Когда нужно будет, Я их найду, а пока буду шхуной с опущенными парусами, буду *всем*, буду *ничем*. Один раз только легонький ветерок колыхнул мои паруса, да и то ненадолго: когда Мария указала на Тибуртинскую дорогу, белой ниткой рассекавшую зеленые холмы, и спросила: ездил ли Я по этой дороге?

– Да, неоднократно, синьорина.

– Я часто смотрю на эту дорогу и думаю, что по ней приятно мчаться в автомобиле. У вас быстрый автомобиль, синьор?

– О да, синьорина, очень быстрый! Но для тех, – продолжал Я с нежным укором, – для тех, кто сам есть пространство и бесконечность, всякое движение излишне.

Мария – и автомобиль! Крылатый ангел, садящийся в метрополитен для быстроты! Ласточка, седлающая черепаху! Стрела на горбатой спине носильщика тяжестей! Ах, все сравнения лгут: зачем ласточка и стрела, зачем самое быстрое движение для *Марии*, в которой заключены все пространства! Но это Я сейчас придумал про метро и черепаху, а *тогда* спокойствие мое было так велико и блаженно, что не вмещало и не знало иных образов, кроме образа вечности и немеркнувшего света.

Великое спокойствие снизошло на Меня в тот день, и ничто не могло возмутить его бесконечной глади. Вероятно, мы были очень недолго с Марией, когда вернулся Фома Магнус и приветствовал Меня – и летающая рыба, на мгновение мелькнувшая над океаном, не больше возмутит его синюю гладь, нежели сделал это Магнус. Я *принял* его в глубь себя, – Я спокойно проглотил его и ощутил так же мало тяжести в желудке, как кит, проглотивший селедку. Но Мне было приятно, что Магнус приветлив и весел, что он так крепко жмет мою руку и смотрит ясными и добрыми глазами. Даже лицо его показалось Мне менее бледным и утомленным, чем обычно.

Меня оставили завтракать... скажу заранее, чтобы ты не очень волновался, что Я пробыл у них до поздней ночи. Когда Мария удалилась, Я рассказал Магнусу про посещение кардинала Х. Веселое лицо Магнуса слегка потемнело, и в глазах блеснул прежний враждебный огонек.

– Кардинал Х.? Он *был* у вас?

Я подробно передал нашу беседу с «бритой обезьяной» и скромно заметил, что он кажется Мне мошенником не из крупных, Магнус заметно поморщился и строго сказал:

– Вы напрасно смеетесь, м-р Вандергуд. Я давно знаю кардинала Х. и... слежу за ним. Это злой, жестокий и опасный деспот. Несмотря на свою смешную внешность, он коварен, беспощаден и мстителен, как Сатана!..

И ты, Магнус! Как Сатана! Этот синий бритый орангутанг, эта ляскающая горилла, эта мартышка, кривляющаяся перед зеркальцем! Но Я превозмог чувство оскорбления – оно пошло камнем на дно моего блаженства – и слушал дальше.

– Его заигрывания с социалистами, его шуточки над Галилеем – ложь. Как враги повесили Кромвеля после его смерти, так и кардинал Х. с наслаждением сжег бы кости Галилея: вращение Земли он до сих пор переживает, как личное оскорбление. Это старая школа, м-р Вандергуд: для устранения препятствий на своем пути он не остановится перед ядом, перед убийством из-за угла, которое будет иметь все черты несчастной случайности. Вы улыбаетесь, но я не могу смотреть с улыбкой на Ватикан, пока есть в нем такие... а в нем всегда есть кто-нибудь, подобный кардиналу Х. Будьте настороже, м-р Вандергуд: вы попали в поле его зрения и его интересов, и теперь уже десятки глаз следят за вами... а может быть, и за мной. Берегитесь, мой друг!

Мне он показался даже взволнованным, и с неподдельным

жаром Я потряс его руку.

– Ах, Магнус!.. Но когда же вы согласитесь помочь мне?

– Но ведь вам же известно, что я не люблю людей. Это *вы* их любите, м-р Вандергуд, но не я! – В глазах его мелькнула прежняя насмешливая улыбка.

– Кардинал говорит, что вовсе не надо любить людей, чтобы сделать их счастливыми... наоборот!

– А кто вам сказал, что я хочу делать людей счастливыми? Это опять *вы* хотите, но не я. Отдайте ваши миллиарды кардиналу X., его рецепт счастья несколько не хуже других патентованных средств. Правда, его средство в одном отношении несколько неудобно: давая счастье, оно уничтожает людей... но разве это важно? Вы слишком деловой человек, м-р Вандергуд, и я вижу, что вы недостаточно знакомы с миром *наших* изобретателей Наилучшего Средства Для Счастья Человечества: этих средств больше, нежели наилучшей мази для ращения волос. Я сам был фантазером и кое-что изобретал в молодости... так, немного химии... одним неудачным взрывом мне опалило даже волосы, и я очень радуюсь, что *тогда* не встретился с вашими миллиардами. Я шучу, м-р Вандергуд, но если хотите, то вот мой серьезный совет: растите и множьте ваших свиней, делайте из трех миллиардов четыре, продавайте не совсем гнилые консервы и оставьте заботы о счастье человечества. Пока мир будет любить хорошую ветчину, он не оставит вас... своею любовью!

– А те, кто не имеет средств *кушать* ветчину?

– А какое вам дело до тех? Это у них – извиняюсь за резкость – бурчит в животе, а не у вас... Когда же бурчание станет слишком громким, то не один вы его услышите, не беспокойтесь. Поздравляю вас с новым жилищем: я знаю виллу Орсини, это прекрасный остаток старого Рима...

Еще он прочтет Мне лекцию о моем дворце! Да, Магнус снова отстранял Меня и делал это резко и грубо, но в голосе его не было суровости, и темные глаза смотрели мягко и добродушно, что ж, черт его возьми, человечество с его счастьем и ветчиной! Потом Я найду лазейку в упрямую голову Магнуса, а пока никому не отдам моего великого покоя и... *Марии*. Великое спокойствие и... Сатана! – разве это не великолепный трюк в моей *игре*? И что за великий лжец, который умеет обманывать только других? Солги себе так, чтобы поверить, – вот это искусство!

После завтрака мы *втроем* бродили по пологим холмам и скатам Кампаньи. Была еще ранняя весна, и только белые маленькие цветочки нежно озаряли молодую и слабую зелень, и ветер был нежен и пахуч, и четко рисовались домики в далеком Альбано. Мария шла впереди, изредка останавливаясь и божественными очами своими окидывая все видимое, – и Я непременно закажу моему мазилке, чтобы он так написал Мадонну: на ковре из слабой зелени и маленьких беленьких цветочков. Магнус был так весел и прост, что Я снова повторил ему о сходстве Марии с Мадонной и рассказал о моих несчастных мазилках, которые ищут натуру. Он засмеялся и

потом серьезно подтвердил мою догадку о необыкновенном сходстве, и лицо его стало печально.

– Это *роковое* сходство, м-р Вандергуд. Помните, что я в одну тяжелую минуту говорил вам о *крови*? У ног моей Марии уже есть кровь... одного благородного юноши, память которого мы чтим с Марией. Не для одной Изиды необходимо покрывало: есть роковые *лица*, есть роковые *сходства*, которые смущают наш дух и ведут его к пропасти самоуничтожения. Я отец Марии, но я сам едва смею коснуться устами ее лба – какие же неодолимые преграды воздвигнет сама себе любовь, когда осмелится поднять глаза на Марию?

Это была единственная минута в том счастливом дне, когда на мой океан набежали страшные тучи, косматые, как борода сумасшедшего Лира, и дикий ветер бешено рванул паруса. Но Я поднял глаза на Марию, Я встретил Ее взор, он был спокоен и ясен, как небо над нашими головами, – и дикий вихрь бежал и скрылся бесследно, унося за собою частицу мрака. Не знаю, говорят ли тебе эти морские сравнения, которые Я сам считаю неудачными, и поэтому поясню: Я снова стал совершенно спокоен. Что Мне благородный римский юноша, так и не нашедший *сравнений* и свалившийся через голову с своего Пегаса? Я белокрылая шхуна, и подо Мною целый океан. И разве не про Нее сказано: *несравненная*!

День был долог и спокоен, и Мне очень понравилась спокойная правильность, с какою солнце с своей вышины скатывалось к краю Земли, с какою высыпали звезды на небо,

сперва большие, потом маленькие, пока все небо не заискрилось и не засверкало, с какою медленно нарастала темнота, с какою в свой час вышла розовая луна, сперва немного ржавая, потом блестящая, с какою поплыла она по пути, освобожденному и согретому солнцем. Но больше всего Мне понравилось, когда мы сидели с Магнусом в полутемной комнате и слушали Марию: она играла на арфе и пела.

И, слушая арфу, Я понял, почему человек для своей музыки так любит туго натянутые струны: Я сам был туго натянутой струною, и уже не касался Меня палец, а звук все еще дрожал и гудел, замирая, и замирал так медленно, в такой глубине, что и до сих пор Я слышу его. И вдруг Я увидел, что весь воздух пронизан напряженно дрожащими струнами, они тянутся от звезды к звезде, разбегаются по земле, соединяются – и все проходят через мое сердце... как телефонные провода через центральную станцию, если ты хочешь более понятных сравнений! И еще Я понял *кое-что*, когда слушал голос Марии...

Нет, ты просто животное, Вандергуд! Когда Я припоминаю твои крикливые жалобы на любовь и ее песни, проклятые проклятием однообразия, – ты, кажется, так выразился? – Мне хочется отправить тебя в хлев. Ты просто грязное и скучное животное, и Мне стыдно, что в течение целого часа Я вежливо слушал твое тупое мычание. Презирай слова и ласки, проклинай объятия, но не коснись Любви, товарищ: только через нее тебе дано бросить быстрый взгляд в самое

Вечность! Пойди прочь, мой друг. Оставь Сатану, который в самой черной глубине человечности вдруг наткнулся на новые неожиданные огни. Уйди, ты не должен видеть *удивления и радости* Сатаны!

Был уже поздний час и луна стояла полночно, когда Я покинул дом Магнуса и приказал шоферу ехать по Номентанской дороге: Я боялся, что мое великое спокойствие ускользнет от Меня, и хотел настичь его в глубине Кампаньи. Но быстрое движение разгоняло тишину, и Я оставил машину. Она сразу заснула в лунном свете, над своей черной тенью она стала как большой серый камень над дорогой, еще раз блеснула на Меня чем-то и претворилась в невидимое. Остался только Я с моей тенью.

Мы шли по белой дороге, Я и моя тень, останавливались и снова шли. Я сел на камень при дороге, и черная тень спряталась за моей спиной. И здесь великое спокойствие снизошло на землю, на мир, и моего холодного лба коснулся холодный поцелуй луны.

2 марта

Рим, вилла Орсини

Все эти дни Я провожу в глубоком уединении.

Мое вочеловечение начинает тревожить Меня. С каждым часом Меня покидает *память* о том, что я оставил за стеною человечности. С каждой минутой слабеет мое *зрение*: стена

почти непроницаема, еле движутся за нею слабые тени, и Я уже не различаю их очертаний. С каждой секундой тупеет мой *слух*: Я слышу тихий писк мыши, скребущейся под полом, и Я глух к громам, обвевающим мою голову. Лживое безмолвие объемлет Меня, и тщетно ловлю Я напряженным слухом голоса *откровения*: они остались за той же непроницаемой стеною. С каждым мгновением удаляется от Меня *истина*. Напрасно Я шлю ей вдогонку стрелы моих слов: они пролетают мимо. Напрасно Я окружаю ее тесными объятиями моих мыслей, оковываю железом цепей: пленница ускользает, как воздух, и моими объятиями Я душу пустоту. Еще вчера Мне казалось, что Я настиг мою добычу, и Я пленил ее, и толстой цепью Я приковал ее к стене, а когда взглянул поутру – к стене был прикован скелет. На позвонках его шеи свободно висела ржавая цепь, и нагло смеялся оскаленный череп.

Как видишь, Я снова ищу слов и сравнений, беру в руки плеть, от которой убегает *истина*! Но что же Мне делать, если все мое оружие Я оставил *дома* и могу пользоваться только твоим негодным арсеналом? Вочеловечь самого Бога, если ты его осилишь, Иаков, и Он тотчас же заговорит с тобою на превосходном еврейском или французском языке, и не скажет *больше* того, что можно сказать на превосходном еврейском или французском языке. Бог!.. а Я только Сатана, скромный, неосторожный, вочеловечившийся Черт!

Конечно, это было совсем неосторожно. Но когда Я смот-

рел *оттуда* на твою человеческую жизнь... нет, постой, – вот мы сразу и попались с тобою во лжи, человече! Когда Я сказал *оттуда* – ты сразу понял, что это очень далеко, да? Может быть, ты уже определил приблизительно и мили, ведь в твоём распоряжении сколько угодно нулей? Ах, это неверно: мое *оттуда* так же близко *отсюда*, как и самое настоящее *здесь*, – видишь, какая это бессмыслица и ложь, в которой мы танцуем с тобою! Брось метр и весы и слушай так, как будто за твоей спиной не тикают часы, а в твоей груди не отвечает им счетчик. Так вот: когда Я смотрел на твою жизнь отсюда (пойдем на компромисс и назовем это «из-за границы»), она виделась Мною как славная и веселая игра неумиряющих частиц.

Ты знаешь, что такое театр кукол? Когда одна кукла разбивается, ее заменяют другою, но театр продолжается, музыка не умолкает, зрители рукоплещут, и это очень интересно. Разве зритель заботится о том, куда бросают разбитые черепки, и идет за ними до мусорного ящика? Он смотрит на игру и веселится. И Мне было так весело – и литавры так зазывно звучали – и клоуны так забавно кувыркалились и делали глупости, – и Я так люблю бессмертную игру, что Я сам пожелал превратиться в актера... Ах, Я еще не знал тогда, что это вовсе не *игра* и что мусорный ящик так страшен, когда сам становишься куклой, и что из разбитых черепков течет *кровь*, – ты обманул Меня, мой теперешний товарищ!

Но ты удивлен, ты презрительно шуришь твои оловянные

глаза и спрашиваешь: что же это за Сатана, который *не знает* таких *простых* вещей? Ты привык уважать чертей, ты самого глупого беса считаешь достойным любой кафедры, ты уже отдал Мне твой доллар как профессору белой и черной магии, – и вдруг Я оказываюсь таким невеждой в самых простых вещах! Я понимаю твое разочарование, Я сам ныне чту гадалок и карты, Мне очень стыдно сознаваться, Что Я не умею сделать ни одного плохонького фокуса и блоху убиваю не взглядом, а просто пальцем, – но правда для Меня всего дороже: да, Я не знал твоих *простых* вещей! По-видимому, всему виной *граница*, которая отделяет нас: как ты не знаешь *моего* и не можешь произнести такой пустой вещи, как мое истинное Имя, так и Я не знал *твоего*, моя земная тень, и лишь теперь с восторгом разбираюсь в твоём огромном богатстве. Подумай: даже простому счету Меня научил только Вандергуд, и Я сам не сумел бы застегнуть пуговиц на моем платье, если бы не привычные и ловкие пальцы того же молодца – Вандергуда!

Теперь Я человек, как и ты. Ограниченное чувство моего бытия Я почитаю моим *знанием* и уже с уважением касаюсь собственного носа, когда к тому понуждает надобность: это не просто нос – это аксиома! Теперь Я сам быющая кукла на театре марионеток, моя фарфоровая головка поворачивается вправо и влево, мои руки треплются вверх и вниз, Я весел, Я играю, Я все знаю... кроме того: чья рука дергает Меня за нитку? А вдали чернеет мусорный ящик, и оттуда

торчат две маленькие ножки в бальных туфельках...

Нет, это не та *игра бессмертных*, к которой Я стремился, и это так же мало напоминает веселье, как корчи эпилептика хороший негритянский танец! Здесь каждый есть то, что он есть, и здесь каждый хочет быть не тем, что он есть, – и этот бесконечный процесс о подлогах Я принял за веселый театр: какая грубая ошибка, какая глупость для «всемогущего, бессмертного»... Сатаны. Здесь все тащат друг друга в суд: живые – мертвых, мертвые – живых, История тех и других, а Бог Историю – и эту бесконечную клязу, этот грязный поток лжесвидетелей, лжеприсяг, лжесудей и лжемошенников Я принял за *игру бессмертных*? Или Я *не туда* попал? Скажи Мне, уважаемый туземец: куда ведет *эта* дорога? Ты бледнеешь, твой палец, дрожа, указывает на что-то... ах, это мусорный ящик!

Вчера Я расспрашивал Топпи о его *прежней* жизни, когда он впервые вочеловечился: Мне хотелось лучше узнать, что чувствует кукла, когда у нее лопается головка или обрывается нить, которая приводит ее в движение? Мы закурили по трубочке и за кружкой пива, как два добрые немца, занялись немного философией. Оказалось, однако, что эта тупая голова почти все уже *забыла*, и мои вопросы приводили ее в стыдливое смущение.

– Неужели ты все забыл, Топпи!

– Сами станете умирать, тогда узнаете. Я не люблю об этом вспоминать, что хорошего!

– Значит, нехорошо?

– А вы слышали, чтобы кто-нибудь *это* хвалил?

– Да, это верно. Никто не хвалил.

– Да и не похвалит. Я уж знаю!

Мы помолчали.

– А ты помнишь, Топпи, откуда ты?

– Из Иллинойса, откуда и вы.

– Нет, я говорю про *другое*. Ты помнишь, *откуда* ты? Ты помнишь *твое* настоящее Имя?

Топпи странно посмотрел на Меня, слегка побледнел и долго в молчании выколачивал свою трубку. Потом поднялся и сказал, не поднимая глаз:

– Прошу вас так со мной не говорить, м-р Вандергуд. Я честный гражданин Соединенных Штатов и ваших *намеков* не понимаю.

Он еще помнит, он неспроста так побледнел, – но уже стремится забыть, и скоро забудет! Ему не по силам эта двойная тяжесть: земли и неба, и он весь отдается земле! Пройдет еще время, и если Я заговорю с ним о Сатане, он отвезет Меня в сумасшедший дом... или напишет донос кардиналу Х.

– Я тебя уважаю, Топпи. Ты очень хорошо вочеловечился, – сказал Я и поцеловал Топпи в темя. Я целую в темя тех, кого люблю.

И Я снова отправился в зеленую пустынную Кампанию: Я следую лучшим образцам, и, когда Меня искушают, Я удаляюсь в пустыню. Там Я долго заклинал и звал Сатану, и Он

не хотел Мне ответить. Вочеловечившийся, долго Я лежал во прахе, умоляя, когда отдаленно зазвучали во Мне легкие шаги и светлая сила подняла Меня ввысь. И вновь увидел Я покинутый Эдем, его зеленые кущи, его немеркнувшие зори, его тихие светы над тихими водами. И вновь *услышал* Я безмолвные шепоты бестелесных уст, и к очам моим бестрепетно приблизилась Истина, и Я протянул к ней мои скованные руки: освободи!

– *Мария.*

Кто сказал: Мария? Но бежал Сатана, погасли тихие светы над тихими водами, исчезла испуганная Истина, – и вот снова сижу Я на земле, вочеловечившийся, тупо смотрю нарисованными глазами на нарисованный мир, а на коленях моих лежат мои скованные руки.

– *Мария.*

...Мне грустно сознаваться, что все это Я выдумал: и пришествие Сатаны с его «легкими и звучными» шагами, и эдемские сады, и скованные руки. Но Мне нужно было твое внимание, и Я не знал, как обойтись без Эдема и кандалов, этих противоположностей, которыми ты замыкаешь разные концы твоей жизни. И райские сады – это так красиво! Кандалы – как это ужасно! И насколько это значительнее, чем просто сидеть на пыльном бугорке с сигарою в *свободных* руках, размышлять лениво и, зевая, поглядывать на часы и дорогу в ожидании шофера. А *Марию* Я приплел просто потому, что с этого бугорка видны черные кипарисы над белым

домиком Магнуса, и невольная ассоциация идей... понимаешь?

Может ли человек с таким *зрением* увидеть Сатану? Может ли человек с таким отупевшим *слухом* услышать какие-то «бестелесные шепоты» или как там? Вздор! И пожалуйста, Я прошу тебя: зови Меня просто Вандергудом. Отныне и до того дня, как Я разобью себе голову игрушкой, что отворяет *самую узкую* дверь в *самый широкий* простор, – зови Меня просто Вандергудом, Генри Вандергудом из Иллинойса: Я буду послушно и быстро отзываться.

Но если, человек, ты увидишь в некий день мою голову раздробленной, то внимательнее взглядишь в *осколки*: там в красных знаках будет начертано гордое имя Сатаны! Согни вью и поклонись Ему низко, – но черепков до мусорного ящика не провожай: не надо так почтительно сгибаться перед сброшенными цепями!

9 марта 1914 г.

Рим, вилла Орсини

Вчера ночью у Меня был важный разговор с Фомой Магнусом.

Когда Мария удалилась к себе, Я, по обыкновению, почти тотчас же собрался ехать домой. Но Магнус удержал Меня. – Куда вам ехать, м-р Вандергуд? Оставайтесь ночевать. Послушайте, как беснуется сумасшедший Март!

Уже несколько дней над Римом бродили тяжелые тучи и косо́й дождь порывами сек стены и развалины, и в это утро Я прочел в какой-то газетке выразительный бюллетень о погоде: *cielo nuvoloso, il vento forte e mare molto agitato*⁴. К вечеру ненастье превратилось в бурю, и взволнованное море перекинуло через девяносто миль свой влажный запах в стены самого Рима. И настоящее римское море, его волнистая Кампанья запела всеми голосами бури, как океан, и мгновениями чудилось, что ее недвижные холмы, ее застывшие из века волны уже поколебались на своих основаниях и всем стадом надвигаются на городские стены. «Сумасшедший» Март, этот расторопный делатель страха и бурь, стремительно носился по ее простору, каждую бледную травинку за волосы пригибал к земле, задыхался, как загнанный, и целыми охапками, поспешно, бросал ветер в стонущие кипарисы. Иногда он бросался чем-то и потяжелее: черепитчатая крыша домика дрожала под ударами, а каменные стены гудели так, будто внутри самих камней дышал и искал выхода пойманный ветер.

Весь вечер мы слушали бурю. Мария была спокойна, но Магнус заметно нервничал, часто потирал свои большие белые руки и осторожно прислушивался к талантливым имитациям ветра: к его разбойничьему свисту, крику и воплям, смеху и стонам... расторопный артист ухитрялся одновременно быть убийцей и жертвой, душить и страстно молить

⁴ Небо облачное, ветер сильный, и море очень бурное (*ит.*).

о помощи! Если бы у Магнуса были подвижные уши зверя, они все время стояли бы напряженно. Его тонкий нос вздрагивал, темные глаза совсем потемнели, как будто и на них легли отражения туч, тонкие губы кривила быстрая и странная усмешка. Я был также взволнован: во все дни моего воцеловечения Я впервые слышал такую бурю, и она подняла во Мне все былые страхи: почти с ужасом ребенка Я старался избегать глазами окон, за которыми стояла тьма. «Почему она не идет сюда? – думал Я. – Разве стекло может ее удержать, если *она* захочет ворваться?..»

Несколько раз кто-то громко стучал и с силою потрясал железные ворота, в которые когда-то стучались и мы с Топпи.

– Это мой шофер приехал за мною, – сказал Я, – надо ему открыть.

Магнус искоса взглянул на Меня и угрюмо ответил:

– С той стороны нет дороги. Там только поле. Это сумасшедший Март просится сюда.

Точно слова его были услышаны: узанный Март рассмеялся и удалился, насвистывая. Но вскоре новые удары сотрясли железную дверь, и несколько голосов, крича и перебывая друг друга, беспокойно и тревожно говорили о чем-то; слышно было, как плачет маленький ребенок.

– Это заблудившиеся... вы слышите, ребенок! Надо открыть.

– А вот мы посмотрим, – сердито отозвался Магнус.

– Я с вами, Магнус.

– Сидите, Вандергуд. Мне достаточно этого товарища. – Он быстро достал из стола *тот* револьвер и с особенным чувством любви и даже нежности мягко охватил его широкой ладонью и бережно сунул в карман. Он вышел, и слышен был крик, которым его встретили у ворот.

В тот вечер Я избегал почему-то ясных взоров Марии, и Мне сделалось неловко, когда мы остались одни. И вдруг Мне захотелось упасть на пол, подползти к Ней на коленях и тихонько свернуться у Ее ног, так, чтобы Ее платье тихо-тихо касалось моего лица: Мне казалось, что на спине у Меня растут волосы и если их погладить, то посыплются искры, и тогда Мне станет легче. Так Я мысленно все подползал, все подползал к Ней, когда вошел Магнус и молча положил револьвер обратно. Голоса у дверей утихли, и стук прекратился.

– Кто это?.. – спросила Мария.

Магнус сердито стряхнул с себя капельки дождя.

– Сумасшедший Март. Кому же больше?

– Но вы, кажется, говорили с ним? – пошутил Я, скрывая неприятную дрожь холода, который вошел вместе с Магнусом.

– Да. Я сказал ему, что это неприлично – таскать за собою такую подозрительную толпу. Он извинился и больше не придет. – Магнус усмехнулся и добавил: – Убежден, что сегодня все разбойники Рима и Кампаньи грезят засадами и

кровью и целуют свои стилеты, как возлюбленных...

Послышался снова неясный и как будто робкий стук.

– Опять! – сердито крикнул Магнус, словно сумасшедший Март и вправду обещал ему не стучать больше. Но за стуком послышался и звонок; это приехал мой шофер. Мария удалась, а Мне, как сказано, Магнус предложил остаться, на что Я после небольшого колебания и согласился: Мне совсем мало нравился Магнус с его револьвером и усмешками, но еще меньше нравилась глупая тьма.

Любезный хозяин сам пошел, чтобы отпустить шофера. В одно из окон Я видел, как широко и ярко блеснули при повороте электрические прожектора машины, и на минуту Мне ужасно захотелось домой, к моим приятным грешникам, которые теперь потягивают винцо в ожидании Меня... Ах, Я уже давно отказался от добродетели и веду порочную жизнь пьяницы и игрока! И опять, как в ту первую ночь, тихий белый домик, эта *душа Марии*, показался Мне подозрительным и страшным: этот револьвер, эти пятна *крови* на белых руках... а может быть, и еще где-нибудь найдутся такие пятна?

Но было уже поздно раздумывать: машина ушла, и возвратившийся Магнус имел при свете не *синюю*, а очень черную и красивую бороду, и глаза его приветливо улыбались. В широкой руке он нес не оружие, а две бутылки вина, и еще издали весело крикнул:

– В такую ночь только и остается что пить вино. Мне и Март при разговоре показался пьяным... гуляка! Ваш ста-

кан, Вандергуд!

Но когда стаканы были налиты, этот веселый пьяница едва коснулся вина и глубоко уселся в кресло, предоставив Мне пить и разговаривать. Без особого воодушевления, слушая шум ветра и думая о том, как длинна предстоящая ночь, Я рассказал Магнусу о новых настойчивых посещениях кардинала Х. Кажется, кардинал действительно приставил ко Мне шпионов, но, что еще более удивительно и странно, сумел чем-то подействовать на неподкупного Топпи. Он остался все тем же преданным другом, но сделался мрачен, почти каждый день ходит на исповедь и сурово убеждает Меня принять католичество.

Магнус спокойно слушал мое повествование, и еще с большей неохотой Я рассказал о множестве неудачных попыток развязать мой кошелек: о бесконечном количестве прошений, написанных дурным языком, где правда кажется ложью от скучного однообразия слез, поклонов и наивной лести, о сумасшедших изобретателях, о торопливых прожекторах, стремящихся со всевозможной быстротой использовать свой недолгий отпуск из тюрьмы, – обо всем этом обглоданном человечестве, которое запах *слабо* защищенных миллиардов доводит до иступления. Мои секретари, а их теперь работает целых шесть человек, едва успевают справляться со всей этой массой слезливой бумаги и бешено говорливых людей, стерегущих каждую дверь моего дворца.

– Боюсь, что Мне придется сделать для себя подземный

ход: они стерегут Меня и по ночам. Они устремились на Меня с лопатами и мотыгами, как на Клондайк, и втыкают в Меня заявки. Болтовня этих проклятых газет о миллиардах, которые Я готов отдать предъявителю любой язвы на ноге или пустого кармана, свела их с ума. Думаю, что в одну прекрасную ночь они просто поделят Меня на порции и съедят. Они уже открыли ко Мне паломничество, как в Лурд, и приезжают с чемоданами. Мои дамы, которые считают Меня своей собственностью, нашли для Меня небольшой дантевский ад, где мы ежедневно гуляем всем обществом: вчера мы целый час созерцали какую-то безмозглую старуху, все достоинство которой в том, что она сумела пережить своего мужа, детей и всех внуков и теперь нуждается в нюхательном табаке. А еще один сердитый старик не хотел успокоиться и не брал даже денег до тех пор, пока все мы не понюхали, как пахнет старая рана на его ноге. Пахнет, действительно, скверно. Этот сердитый старик – гордость моих дам и, как все фавориты, капризен. А еще... вам не скучно меня слушать, Магнус? Я могу рассказать вам еще про целую уйму оборванных отцов, голодных детей, зеленых и гнилых, как некоторые сорта сыра, про благородных гениев, презирающих меня, как негра, про остроумных пьяниц с веселыми красными носами... Мои дамы неохотно показывают пьяниц, но Мне они нравятся больше всего остального товара. А вам, синьор Магнус?

Магнус молчал. Мне надоело говорить, и Я тоже замол-

чал. Один безумный Март продолжал неумолимо разыгрывать свои шутки: теперь он сидел на крыше и старался прогрызть ее по самой середине, хрустел черепицей, как сахаром. Магнус прервал молчание:

– Последние дни о вас очень мало пишут газеты. Что случилось?

– Я плачу интервьюерам, чтобы они не писали. Сперва Я просто прогнал их, но они стали интервьюировать моих лошадей, и теперь Я плачу им за каждую строчку молчания. Не найдется ли у вас покупатель на мою виллу, Магнус? Я ее продаю вместе с художниками и остальным инвентарем.

Мы снова основательно помолчали и прошлись по комнате: сперва прошелся Магнус и сел, потом прошелся Я и также сел. Кроме того, Я еще выпил два стакана вина, а Магнус ни одного... о, у этого господина нос никогда не покраснеет! Вдруг он решительно сказал:

– Не пейте больше вина, Вандергуд.

– О! Хорошо, Я больше не буду пить вина. Это все?

Дальнейшие вопросы свои Магнус предлагал с большими промежутками молчания. Тон его голоса был суров и резок, мой... мелодичен, сказал бы Я.

– В вас произошла большая перемена, Вандергуд.

– Очень возможно. Благодарю вас, Магнус.

– Прежде вы были живее. Теперь вы почти не шутите. Вы стали очень мрачным субъектом, Вандергуд.

– О!

– Вы даже похудели, и лоб у вас желтый. Это правда, что вы каждую ночь напиваетесь с вашими... друзьями?

– Кажется.

– Играете в карты, бросаете золото, и недавно за вашим столом чуть не произошло убийство?

– Боюсь, что правда. Я припоминаю, что один джентльмен действительно хотел проткнуть вилкой другого джентльмена. А откуда вам это известно, Магнус?

Он ответил сурово и многозначительно:

– Вчера у меня был м-р Топпи. Он добивался свидания с... Марией, но я принял его сам. При всем моем уважении к вам, Вандергуд, я должен отметить, что секретарь ваш на редкость глуп.

Я холодно согласился:

– Вы совершенно правы. Вам следовало выгнать его.

Должен отметить, в свою очередь, что при имени *Марии* два последних стакана мгновенно испарились из Меня, и при дальнейшем разговоре вино улетучивалось так же быстро, как эфир из открытой банки... Я всегда думал, что это непрочная вещь! Снова мы послушали бурю, и Я сказал:

– Ветер, кажется, сильнеет, синьор Магнус.

– Да, ветер, кажется, сильнеет, м-р Вандергуд. Но вы должны признать, что я своевременно предупредил вас, м-р Вандергуд!

– В чем вы Меня своевременно предупреждали, синьор Магнус?

Он охватил колена своими белыми руками и устремил на Меня взор заклинателя змей... ах, он не знал, что я сам вырвал у себя ядовитые зубы и теперь безвреден, как чучело в музее! Наконец он понял, что нет смысла так долго фиксировать простые бутылочные стекла, и перешел к слову:

– Я вас предупреждал относительно *Марши*, – медленно и внушительно промолвил он. – Вы помните, что я не хотел... знакомства с вами и выражал это довольно ясно? Вы не забыли, *что* я говорил вам о Марии, о ее роковом влиянии на души? Но вы были настойчивы, смелы, и я уступил. Теперь вы желаете представить нам, мне и дочери, чувствительное зрелище *разлагающегося* джентльмена, который ничего не просит и даже не упрекает, но не может успокоиться до тех пор, пока всеми не будет осмотрена его рана... Я не хочу повторять точно ваших выражений, м-р Вандергуд, в них слишком много дурного запаха. Да, сударь, вы достаточно откровенно говорили о ваших... ближних, и я искренне рад, что вы бросили наконец эту дешевую игру в любовь и человечество... у вас так много других забав! Но, признаюсь, меня совсем не радует ваше щедрое намерение подарить нам *останки* джентльмена. Мне кажется, сударь, что вы напрасно уехали из Америки и не продолжаете вашего дела с... консервами; общение с людьми требует совсем иных способностей.

Он насмеялся! Он почти выгонял Меня, этот человек, и Я, который пишет себя с большой буквы, Я – покорно и

смиренно выслушал его. Это было божественно смешно! Одна комическая подробность для любителей веселого чтения: перед началом его тирады мои глаза и моя сигара в зубах были довольно бодро и небрежно подняты *кверху* – к концу они опустились... Я до сих пор чувствую на зубах этот горький вкус уныло свисшей потухшей, выскользающей сигары. Я задыхался от смеха... точнее, Я еще не знал: задохнуться ли Мне от смеха или от гнева? Или – не задыхаясь ни от того, ни от другого, попросить зонтик от дождя и удалиться? Ах, он был *дома*, он был на *своей* земле, этот сердитый человечек с черной бородой, он знал, что надо делать в этих случаях, и он пел *соло*, а не *дуэтом*, как эти неразлучные Сатана из вечности и Вандергуд из Иллинойса!

– Сударь! – сказал Я с достоинством. – Здесь произошло печальное недоразумение. Перед вами *вочеловечившийся* Сатана... вы понимаете? Он вышел на вечернюю прогулку и неосторожно заблудился в лесу... в лесу, сударь, в лесу! Не будете ли добры, сударь, и не укажете ли ему ближайшей дороги к вечности? Ага! Благодарю вас, Я так и думал. Прощайте!

Конечно, Я этого не сказал. Я *молчал*, предоставив слово Вандергуду, и вот что сказал этот почтенный джентльмен, выпустив изо рта потухшую и мокрую сигару:

– Черт возьми! Вы правы, Магнус. Благодарю вас, старина. Да, вы честно предупреждали Меня, но я пожелал играть в одиночку. Теперь Я банкрот и в вашем распоряжении. Ни-

чего не имею против, если вы распорядитесь вынести *останки* джентльмена.

Я думал, что, не ожидая носилок, Магнус просто выбросит останки в окно, но великодушие этого господина было поистине изумительно: он взглянул на Меня *с состраданием* и даже протянул руку для пожатия.

– Вы очень страдаете, м-р Вандергуд?

Вопрос, на который довольно трудно ответить знаменитому *дуэту!* Я моргнул глазами и поднял плечи. Кажется, это удовлетворило Магнуса, и на несколько минут мы погрузились в сосредоточенное молчание. Не знаю, о чем думал Магнус, но Я не думал ни о чем: Я просто разглядывал с большим интересом стены, потолок, книги, картинки на стенах, всю эту обстановку человеческого жилища. Особенно заинтересовала Меня электрическая лампочка, на которой Я остановил надолго мое внимание: почему *это* горит и светит?

– Я жду вашего слова, м-р Вандергуд.

Он еще ждет моего слова? Хорошо.

– Дело очень просто, Магнус... ведь вы предупреждали Меня? Завтра мой Топпи укладывает чемоданы, и Я еду в Америку продолжать дело с... консервами.

– А кардинал?

– Какой кардинал? Ах, да!.. Кардинал Х. и миллиарды? Как же, Я помню. Но – не смотрите на Меня так удивленно, Магнус, – мне это надоело.

– Что именно вам надоело, м-р Вандергуд?

– *Это*. Шесть секретарей, безмозглые старухи, нюхательный табак и мой дантевский ад, куда меня водят на прогулку. Не смотрите на Меня так строго, Магнус. Вероятно, из моих миллиардов можно было приготовить зелье покрепче, но Я сумел сделать только кислое пиво. Отчего вы не захотели помочь Мне? Впрочем, вы ненавидите людей, Я забыл.

– Но вы их *любите*?

– Как вам сказать, Магнус? Нет, скорее, Я к ним равнодушен. Не смотрите на меня с таким... чувством, ей-богу, не стоит! Да, Я к ним равнодушен. Их так много, знаете ли, было, есть и еще будет, что положительно не стоит...

– Значит, вы *лгали*?

– Смотрите не на Меня, а на мои упакованные чемоданы. Нет, не совсем. Мне, знаете ли, хотелось создать нечто интересное для игры, ну вот, для завязки, Я и пустил в обращение эту... это чувство...

– Следовательно, вы только *играли*?

Я снова моргнул глазами и поднял плечи: Мне понравился этот способ ответа на слишком сложные вопросы. И Мне очень нравилось *это* лицо синьора Фомы Магнуса, его удлинившийся овал несколько вознаграждал Меня за все мои театральные неудачи... и *Марию*. Замечу, что в моих зубах была новая сигара.

– В вашем прошлом, вы говорили, есть какие-то темные страницы... В чем дело, м-р Вандергуд?

– О! Это маленькое преувеличение. Ничего особенного, Магнус. Извиняюсь, что напрасно потревожил вас, но тогда Мне казалось, что этого требует стиль...

– Стиль?

– Да, и законы контраста. При темном прошлом светлое настоящее... понимаете? Но Я уже сказал вам, Магнус, что из моей затеи ничего не вышло. В наших местах имеют не совсем верное представление об удовольствиях, доставляемых здешней игрою. Надо будет это растолковать, когда вернусь. На несколько минут Мне понравилась бритая обезьяна, но ее способ околпачивать людей слишком стар и слишком верен... как монетный двор. Я люблю риск.

– Околпачивать людей?

– Ведь мы же их презираем, Магнус? Так не будем отказывать себе в удовольствии, если игра не удалась, говорить прямо. Вы, кажется, улыбнулись? Я очень рад. Но Я устал болтать и с вашего разрешения выпью стакан вина.

Фома Магнус вовсе не был похож на улыбающегося человека, и Я сказал про улыбку так... для стиля. Прошло не меньше получаса в полном молчании, нарушаемом только взвизгами и возней сумасшедшего Марта да ровными шагами Магнуса: заложив руки за спину и не обращая на меня никакого внимания, он методично измерял комнату: восемь шагов вперед, восемь шагов назад. По-видимому, он когда-нибудь сидел в тюрьме, и немало: у него было умение опытного арестанта создавать пространство из нескольких

метров. Я позволил себе слегка зевнуть и этим обратил на себя внимание любезного хозяина. Но еще с минуту молчал Магнус, пока *следующие слова* не прозвучали в воздухе и не сбросили Меня с места:

– Но *Мария* любит вас. Вы, конечно, не знаете этого?

Я встал.

– Да, это правда: Мария любит вас. Этого несчастья я не ожидал. Убить вас я опоздал, м-р Вандергуд, это нужно было совершить вначале, а теперь я не знаю, что делать с вами. Как вы сами думаете на этот счет?

Я выпрямился и...

...Мария любит *Меня!*

Я видел в Филадельфии неудачную казнь электричеством. Я видел в миланской «Скала», как мой коллега Мифисто *корчился* и прыгал по всей сцене, когда статисты двинулись на него с крестами, – и мой безмолвный ответ Магнусу был довольно искусным воспроизведением того и другого трюка: ах, в ту минуту в моей памяти не оказалось лучших образцов? Клянусь вечным спасением, еще никогда Меня не пронизывало столько смертельных токов, еще никогда Я не пил такого горького напитка, еще никогда не овладевал моей душой такой неудержимый *смех!*

Сейчас Я уже не смеюсь и не корчусь, как пошлый актер, – Я один, и только моя серьезность слушает и видит Меня. Но в ту минуту торжества Мне понадобились все силы, чтобы

громко не расхохотаться и не надавать звонких пощечин этому суровому и честному человеку, бросавшему Мадонну в объятия... Дьявола, ты думаешь? Нет, американца Вандергуда с его козлиной бородкой и мокрою сигарой в золотых зубах! Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький, как полынь, – вот чем до краев была налита поднесенная Мне чаша... нет, еще хуже, еще горче, еще смертельнее! Что Мне обманутый Магнус со всей тупостью его глаз и ума, но как могли обмануться чистые взоры *Марии*?

Или Я такой искусный донжуан, которому достаточно нескольких почти безмолвных встреч, чтобы обольстить невинную и доверчивую девушку? Мадонна, где ты? Или Она нашла во Мне сходство с одним из своих святых, как и у Топпи, но ведь со Мной же нет походного молитвенника! Мадонна, где Ты? Уста ли твои тянутся к моим устам, как пестики к тычинкам, как все эти миллиарды похотей цветов, людей и животных? Мадонна, где Ты? *Или?*..

Я еще корчился, как актер, Я еще душил в приличном бормотанье мою ненависть и презрение, когда это новое *или* вдруг наполнило Меня новым смятением и такой любовью... ах, такой любовью!

– *Или*, – подумал Я, – *твое* бессмертие, Мадонна, откликнулось на бессмертие *Сатаны* и из самой вечности протягивает ему эту кроткую руку? Ты, *обожествленная*, не узнала ли друга в том, кто *вочеловечился*? Ты, восходящая ввысь, не прониклась ли жалостью к *нисходящему*? О Мадонна, поло-

жи руку на мою темную голову, чтобы узнал Я Тебя по твоему прикосновению!..

Слушай, что было дальше в эту ночь.

– Я не знаю, за что полюбила вас Мария. Это тайна ее души, недоступной моему пониманию. Да, я не понимаю, но я преклоняюсь перед ее волей, как перед откровением. Что мои человеческие глаза перед ее всепроникающим взором, м-р Вандергуд!..

(И он говорил то же!)

– Минуту назад, в горячности, я сказал что-то об убийстве и смерти... нет, м-р Вандергуд, вы можете навсегда быть спокойны: избранный Марией неприкосновенен для меня, его защищает больше, чем закон, – его покровом служит ее чистая любовь. Конечно, я немедленно попрошу вас оставить нас и – я верю в вашу честность, Вандергуд, – поставить между нами преградою океан...

– Но...

Магнус сделал шаг ко Мне и гневно крикнул:

– Ни слова дальше!.. Я вас не могу убить, но если вы осмелитесь произнести слово «брак», я!..

Он медленно опустил поднятую руку и продолжал спокойно:

– Вижу, что мне еще не раз придется извиняться за мою вспыльчивость, но это лучше, чем та *ложь*, образцы которой вы нам дали. Не оправдывайтесь, Вандергуд, это лиш-

нее. А о браке позвольте говорить мне: это будет звучать менее оскорбительно для Марии, чем в ваших устах. Он совершенно немыслим, запомните это. Я трезвый реалист, в *роковом* сходстве Марии я вижу только сходство, и меня вовсе не поражает мысль, что моя дочь, при всех ее необыкновенных свойствах, когда-нибудь станет женою и матерью... мое категорическое отрицание брака было лишь одним из способов предупреждения. Да, я трезво смотрю на вещи, но, м-р Вандергуд, не вам суждено стать спутником Марии. Вы вовсе не знаете меня, и теперь я вынужден несколько приподнять завесу, за которою я скрываюсь уже много лет: мое бездействие лишь отдых, я вовсе не мирный селянин и не книжный философ, я человек борьбы, я воин на поле жизни! И моя Мария будет наградой только герою, если... когда-нибудь мне встретится герой.

Я сказал:

– Вы можете быть уверены, синьор Магнус, что Я ни слова не позволю себе сказать относительно синьорины Марии. Вы знаете, что Я не герой. Но о вас Мне позволено будет спросить: как Мне сочетать ваши теперешние слова с вашим *презрением* к людям? Помнится, вы что-то очень серьезно говорили об эшафоте и тюрьмах.

Магнус громко рассмеялся:

– А вы помните, что вы говорили о вашей *любви* к людям? Ах, милый Вандергуд: я был бы плохим воином и политиком, если бы в мое образование не входило и искусство ма-

ленькой *лжи*. Мы играли оба, вот и все!

– Вы играли лучше, – признался Я довольно мрачно.

– А вы играли очень скверно, дорогой, не обижайтесь. Но что мне было делать, когда вдруг ко мне является джентльмен, нагруженный золотом, как...

– Как осел. Продолжайте.

– ...и на всех языках начинает объясняться в своей любви к человечеству, причем его уверенность в успехе может равняться только количеству долларов в его кармане? Главный недостаток вашей игры, м-р Вандергуд, в том, что вы слишком явно жаждете успеха и стремитесь к немедленному эффекту, это делает зрителя недоверчивым и холодным. Правда, я не думал, что это только игра, – самая плохая игра лучше искренней глупости... и я опять должен извиниться: вы представились мне просто одним из тех глупых янки, которые сами верят в свои трескучие и пошлые тирады, и... вы понимаете?

– Вполне. Прошу вас, продолжайте.

– Только одна ваша фраза – что-то о войне и революции, которые можно создать на ваши миллиарды, показалась мне несколько интереснее остального, но дальнейшее показало, что это лишь простая обмолвка, случайный кусок чужого текста. Ваши газетные триумфы, ваше легкомыслие в серьезных вещах, – вспомните кардинала Х.! – ваша дешевая благодетельность совершенно дурного тона... нет, м-р Вандергуд, вы не созданы для серьезного театра! И ваша болтов-

ня сегодня, как она ни цинична, понравилась мне больше, чем ваш дутый балаганный пафос. Скажу искренно: если бы не *Мария*, я от души посмеялся бы сегодня с вами и без малейшего укора поднял бы *прощальный* бокал!

– Одна поправка, Магнус: Я искренне хотел, чтобы вы приняли участие...

– В чем? В вашей игре? Да, в вашей игре недоставало *творца* и вы искренно хотели взвалить на меня нищету вашего духа. Как вы нанимаете художников, чтобы они расписывали и украшали ваши дворцы, так вы хотели нанять мою волю и воображение, мою силу и любовь!

– Но ваша ненависть к людям...

До сих пор Магнус почти не выходил из тона иронии и мягкой насмешки: мое замечание вдруг переродило его. Он побледнел, его большие белые руки судорожно забегали по телу, как бы отыскивая оружие, и все лицо стало угрожающим и немного страшным. Словно боясь силы собственного голоса, он понизил его почти до шепота; словно боясь, что слова сорвутся и побегут сами, он старательно ровнял их.

– Ненависть? Молчите, сударь. Или у вас совсем нет ни совести, ни простого ума? Мое презрение! Моя ненависть! Ими я отвечал не на вашу актерскую *любовь*, а на ваше истинное и мертвое равнодушие. Вы *меня* оскорбляли как человека вашим равнодушием. Вы всю жизнь нашу оскорбляли вашим равнодушием! Оно было в вашем голосе, оно нечеловеческим взглядом смотрело из ваших глаз, и не раз меня

охватывал страх... страх, сударь! – когда я проникал глубже в эту непонятную пустоту ваших зрачков. Если в вашем прошлом нет темных страниц, которые вы приплели для стиля, то там есть худшее: там есть *белые* страницы, и я не могу их прочесть!..

– Ого!

– Когда я смотрю на вашу вечную сигару, когда я вижу ваше самодовольное, но красивое и энергичное лицо, когда я люблюсь вашими непритязательными манерами, в которых кабацкая простота доведена до пуританской высоты, мне все понятно и в вас, и в вашей наивной игре. Но стоит мне встретить ваш зрачок... или его *белую* подкладку, и я сразу проваливаюсь в пустоту, мною овладевает тревога, я уже не вижу ни вашей честной сигары, ни честнейших золотых зубов, и я готов воскликнуть: кто вы, смеющийся нести с собою такое равнодушие?

Положение становилось интересным. *Мадонна* любит Меня, а этот каждое мгновение готов произнести мое имя! Не сын ли он моего *Отца*? Как мог он разгадать великую тайну моего беспредельного равнодушия: Я так тщательно скрывал ее от тебя!

– Вот! Вот! – закричал Магнус, волнуясь, – в ваших глазах снова две слезинки, которые я уже видел однажды, – это *ложь*, Вандергуд! Под ними нет источника слез, они пали откуда-то сверху, из облаков, как роса. Лучше смейтесь: за вашим смехом я вижу просто дурного человека, но за ваши-

ми слезами стоят *белые* страницы. Белые страницы!.. или их прочла моя Мария?

Не сводя с Меня глаз, словно боясь, что Я убегу, Магнус прошелся по комнате и сел против Меня. Лицо его погасло, и голос казался утомленным, когда он сказал:

– Но я напрасно, кажется, волнуюсь...

– Не забудьте, Магнус, что сегодня Я сам говорил вам о равнодушии.

Он небрежно и устало махнул рукой.

– Да, вы говорили. Но здесь другое, Вандергуд. В этом равнодушии нет оскорбления, а там... Я почувствовал это сразу, когда вы явились с вашими миллиардами. Не знаю, будет ли вам понятно, но мне сразу же захотелось кричать о ненависти, требовать эшафота и крови. Эшафот – дело мрачное, но любопытные возле эшафота, м-р Вандергуд, – вещь невыносимая! Не знаю, что «в ваших местах» говорят о нашей игре, но мы за нее расплачиваемся жизнью, и когда вдруг появляется любопытный господин в цилиндре и с сигарой, его хочется, понимаете, взять за шиворот и... Ведь все равно он никогда не досиживает до конца. Вы также ненадолго изволили заглянуть к нам, м-р Вандергуд?

Каким длительным стоном пронеслось во Мне имя: *Мария!*.. И Я не играл нисколько и уже не лгал нисколько, когда давал свой ответ мрачному человеку:

– Да, Я к вам ненадолго, синьор Магнус, вы угадали. По некоторым, довольно уважительным причинам Я не могу ни-

чего рассказать о белых страницах, которые вы также угадали за моим кожаным переплетом, но на одной из них было начертано: смерть – уход. Это не цилиндр был в руках у любопытного посетителя, а револьвер... вы понимаете: смотрю, пока интересно, а потом кланяюсь и ухожу. Из уважения к вашему реализму выражусь яснее и проще: на ближайших днях, быть может завтра, Я отправляюсь на тот свет... нет, это недостаточно ясно: на ближайших днях или завтра Я стреляюсь, убиваю себя из револьвера. Сперва думал выстрелить в сердце, но в голову, кажется, будет надежнее. Задумано это давно, еще в самом начале моего... появления у вас, и не в этой ли *готовности* к уходу вы усмотрели мое «нечеловеческое» равнодушие? Ведь правда: когда одним глазом смотришь на *тот* свет, то в глазу, обращенном на *этот*, едва ли может гореть особенно яркое пламя... как в ваших глазах хотя бы. О! у вас удивительные глаза, синьор Магнус.

Магнус помолчал и спросил:

– А Мария?

– Разрешите отвечать? Я слишком высоко ставлю синьорину Марию, чтобы не считать ее *любви* ко Мне роковой ошибкой.

– Но вы хотели этой любви?

– Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Вначале да, пожалуй, у Меня мелькнули кое-какие мечты, но чем дальше Я вникал в это *роковое* сходство...

– Это только сходство, – с живостью поправил меня Магнус, – вы не должны быть ребенком, Вандергуд! Душа Марии возвышенна и прекрасна, но она живой человек из мяса и костей. Вероятно, у нее также есть свои маленькие грешки...

– А мой цилиндр, Магнус? А мой *свободный* уход? Чтобы смотреть на синьорину Марию с ее роковым сходством, – пусть это будет только сходство, – Мне достаточно заплатить за кресло, но чем Я могу заплатить за ее *любовь*?

Магнус сурово промолвил:

– Только жизнью.

– Вы видите: только жизнью! Как же Я мог хотеть такой любви?

– Но вы не рассчитали: она уже любит вас.

– О! Если синьорина Мария действительно любит Меня, то моя *смерть* не может быть препятствием... впрочем, Я выражаюсь не совсем понятно. Хочу сказать, что мой уход... нет, лучше Я ничего не скажу. Одним словом, синьор Магнус: *теперь* вы не согласились бы взять мои миллиарды в ваше распоряжение?

Он быстро взглянул на меня:

– Теперь?!

– Да. Теперь, когда мы уже не играем: Я в любовь, а вы в ненависть. Теперь, когда Я совсем ухожу и уношу с собою «останки» джентльмена? Выразусь совсем точно: вы не хотите ли быть моим наследником?

Магнус нахмурился и гневно взглянул на Меня: видимо,

слова мои он почел за насмешку. Но Я был серьезен и спокоен. Мне показалось, что большие белые руки его несколько дрожат. С минуту он сидел отвернувшись и вдруг круто обернулся:

– Нет! – крикнул он громко. – Вы снова хотите... нет!

Он топнул ногой и еще раз крикнул: нет! Его руки дрожали, дыхание было тяжело и прерывисто. Потом было долгое молчание, свист бури, шорохи и шепоты ветра. И тогда снова снизошло на Меня великое спокойствие, великий, мертвый, всеобъемлющий покой. Все стало *вне* Меня. Я еще слышал земных демонов бури, но голоса их звучали отдаленно и глухо, не трогая Меня. Я видел перед собою *человека*, и он был чужд Мне и холоден, как изваяние из камня. Один за другим прошли предо Мною, погасая, все дни моей человечности, мелькнули лица, прозвенели слабо голоса и непонятный смех – и стихли. Я обратил взоры в другую сторону – и там встретило Меня безмолвие. Я был точно замуравлен между двумя каменными глухими стенами: за одной была ихняя, человеческая, жизнь, от которой Я отделился, за другой – в безмолвии и мраке простирался мир моего вечного и истинного бытия. Его безмолвие звучало, его мрак сиял, трепет вечной и радостной жизни плескался, как прибой, о твердый камень непроницаемой Стены, – но были глухи мои чувства и безмолвствовала Мысль. Из-под слабых ног моей Мысли выдернули *память*, – и она повисла в пустоте, недвижимая, мгновенно онемевшая. *Что* оставил Я за стеной моего Бес-

памятства?

Мысль не отвечала. Она была недвижна, пуста и молчала. Два безмолвия окружали Меня, два мрака покрывали мою голову. Две стены хоронили Меня, и за одною, в бледном движении теней, проходила ихняя, человеческая, жизнь, а за другою – в безмолвии и мраке простирался мир моего истинного и вечного бытия. Откуда услышу зовущий голос? Куда шагну?

И в эту минуту прозвучал далекий и чуждый голос человека. Он становился все ближе, в нем звучала ласка. Это говорил Магнус. С усилием, содрогаясь от напряжения, Я старался услышать и понять слова, и вот что Я услышал:

– А не остаться ли вам жить, Вандергуд?

18 марта

Рим, палаццо Орсини

Вот уже три дня как Магнус и Мария живут в Риме, в моем палаццо. Теперь он странно пуст и безмолвен и кажется действительно огромным. Нынче ночью, утомленный бессонницею, Я бродил по его лестницам и залам, по каким-то комнатам, которых раньше не видал, и количество их удивило меня. Кое-где остались подмости и леса, мольберты и краски, но моих беспутных приятелей уже нет. *Душа* Марии изгнала все суетное и нечистое, и только благообразнейший Топпи торжественно болтается в пустоте, как маятник церковных

часов. Ах, до чего он благообразен! Если бы не этот его широкий зад с расходящимися фалдами и не запах меха от головы, Я сам принял бы его за одного из святых, почтивших Меня своим знакомством.

Моих гостей Я почти не вижу. Я перевожу все мое состояние в золото, и Магнус с Топпи и всеми секретарями целый день заняты этой работой; наш телеграф работает непрерывно. Со Мною Магнус говорит мало и только о деле. Марии... кажется, ее Я избегаю. В мое окно Я вижу сад, где она гуляет, и пока этого с Меня достаточно. Ведь ее *душа* здесь, и светлым дыханием Марии наполнена каждая частица воздуха. И Я уже сказал, кажется, что у Меня бессонница.

Как видишь, друг, Я остался *жить*; мертвою рукою не написать даже таких мертвых слов, какие Я пишу, – мертвою рукою ничего написать нельзя, решительно ничего! Забудем прошлое! – как говорят помирившиеся любовники, – и станем с тобою друзьями. Дай мне руку, товарищ! Клянусь вечным спасением, Я не буду больше ни выгонять тебя вон, ни смеяться над тобою: если Я потерял мудрость змия, то взамен получил кротость голубицы. Немного жаль, что Я выгнал моих интервьюеров и художников: Мне не у кого спросить, кого Я *напоминаю* теперь моим просветленным ликом? Себе Я напоминаю напудренного негра, который боится рукавом стереть пудру и показать свою черную кожу... ах, у Меня все еще черная кожа!

Да, Я остался *жить*, но еще не знаю, насколько это удаст-

ся Мне: тебе известно, насколько трудны переходы из кочевого состояния в оседлое? Я был свободным краснокожим, веселым номадом, который свое *человеческое* раскидывает, как легкую палатку. Теперь Я из гранита закладываю фундамент для зимнего жилища, и Меня, маловерного, заранее охватывает холод и дрожь: будет ли тепло, когда белые снега опояшут мой новый дом! Что ты думаешь, друг, о различных системах центрального отопления?

В ту ночь Я обещал Фоме Магнусу, что не убью себя. Этот договор мы скрепили дружеским пожатием. Мы не открывали вен, мы не писали кровью, мы просто сказали «да», но этого достаточно: как тебе известно, только люди нарушают свои договоры, черти же всегда их исполняют... вспомни всех твоих волосатых и рогатых героев с их спартанской честностью! К счастью (назовем это «к счастью»), Я не назначил... срока. Клянусь вечным спасением! – Я был бы плохим королем и владыкою, если бы, строя дворец, не оставил для себя тайного хода наружу, маленькой дверки, скромной лазейки, в которую исчезают умные короли, когда их глупые подданные восстают и врываются в Версаль.

Я не убью себя завтра. Быть может, еще очень долго Я не убью себя: из двух стен Я перешагнул за самую низкую и ныне человечеству вместе с тобою, товарищ. Мой земной опыт еще не велик и кто знает? – вдруг человеческая жизнь Мне очень понравится! Ведь дожил мой Топпи до седых волос и мирной кончины – отчего же и Мне, перейдя все воз-

расты, как времена года, не превратиться в почтенного седовласого старца, мудрого наставника и учителя, носителя заветов и склероза? Ах, этот смешной склероз, эти старческие немощи – это сейчас они пугают Меня, но разве Я не могу к ним привыкнуть за долгий совместный путь и даже полюбить их? Все говорят, что к жизни легко привыкнуть, – попробую привыкнуть и Я. Здесь все так хорошо устроено, что после дождя всегда приходит солнце и сушит мокрого, если он не поторопился умереть. Здесь все так хорошо устроено, что нет ни одной болезни, против которой не было бы лекарства... это так хорошо, можно всегда болеть, если близко аптека!

А на всякий случай – маленькая дверка, тайный ход, короткий мокрый и темный коридор, за которым звезды и вся ширь моего необъятного пространства! Друг мой, Я хочу быть с тобою откровенен: в моем характере есть непокорство, и вот этого Я опасуюсь. Что такое кашель или катар желудка? – а вдруг Мне *так* не захочется кашля или каких-нибудь пустяков, что Я возьму и убегу! Сейчас ты мне нравишься, Я готов заключить с тобою продолжительный и крепкий союз, но вдруг в твоём милом лице мелькнет что-то *такое*, что... нет, нельзя без тайной дверки для того, кто так капризен и непокорен! К несчастью, Я еще очень горд, это старый и всем известный порок Сатаны. Как рыба ударом в голову, Я оглушен моею человечностью, роковое Беспамятство гонит Меня в твою жизнь, но одно Я знаю твердо: Я из

рода *свободных*, Я из племени *владык*, свою волю претворяющих в законы. Победенных царей часто берут в плен, но никогда цари не делаются рабами. И когда над моею головою Я увижу бич грязного надсмотрщика и мои скованные руки будут бессильны отвести удар... что же: Я останусь жить с рубцами на спине? Буду торговаться с Судьями за лишний удар плети? Поцелую руку палача? Или в аптеку пошлю за примочкой?

Нет, пусть не осудит Меня честный Магнус за маленькую неточность в нашем договоре: Я буду жить, но лишь до тех пор, пока хочу жить. Все блага человечности, которые он сулил Мне в ту ночь, когда искушался Сатана человеком, не вырвут оружия из моей руки: в нем единый залог моей свободы! Что все твои княжества и графства, все твои грамоты на благородство, твое золото на свободу, человеке, рядом с этим маленьким и свободным движением пальца, мгновенно возносящим тебя на Престол всех Престолов!..

– *Мария!*

Да, Я боюсь ее. Взор ее очей так повелителен и ясен, свет ее любви так могуч, чарующ и прекрасен, что все дрожит во Мне, колеблется и стремится к немедленному бегству. Неведомым счастьем, смутными обещаниями, певучими грезами она искушает Меня! Крикну ли: прочь! – или, непокорному и злому, покориться ее воле и идти за нею?

Куда? Не знаю. Но все ли Я знаю? Или есть еще иные миры, кроме тех, которые Я забыл и знаю? Откуда этот непо-

движный свет за моей спиной? Он становится все шире и ярче, его теплым прикосновением уже согревается моя душа, и ее полярные льды крошатся и тают. Но Я боюсь оглянуться. Не горит ли это проклятый Содом, и Я окаменею, оглянувшись? Или это новое солнце, которого Я еще не видал на земле, восходит за моей спиной, а Я бегу от него, как глупец, подставляю вместо сердца спину, вместо высокого чела – низкий и тупой затылок испуганного зверя?

Мария! Что ты дашь Мне за револьвер? Я заплатил за него десять долларов вместе с футляром, а с тебя – не возьму и царства! Но только не смотри на Меня, Владычица, иначе... иначе Я все отдам тебе даром: и револьвер, и футляр, и самого Сатану!

26 марта

Рим, палаццо Орсини

Уже пятую ночь Я не сплю. Когда погасает последний огонь в моем безмолвном палаццо, Я тихо спускаюсь по лестнице, тихо приказываю машину – почему-то Я боюсь даже шума своих шагов и голоса – и на всю ночь уезжаю в Кампанию. Там, оставив автомобиль на дороге, Я до рассвета брожу по гладкому шоссе или неподвижно сижу у каких-нибудь темных развалин. Меня совсем не видно, и редкие прохожие, какие-нибудь крестьяне из Альбано, говорят громко, не стесняясь. Мне нравится, что Меня не видно, это напомина-

ет что-то, что Я забыл.

Как-то, сев на камень, Я потревожил ящерицу, – вероятно, это она слегка прощуршала травой у моих ног и скрылась. Может быть, это была змейка, не знаю. Но Мне ужасно захотелось стать ящерицей или маленькой змейкой, которой не видно под камнем: Меня неприятно волнует мой большой рост, все эти размеры ног и рук, с ними так трудно превратиться в невидимое. Еще Я избегаю смотреть в зеркало на свое лицо: больно думать, что у Меня есть лицо, которое все видят. Почему вначале Я так боялся темноты? Она так хорошо скрывает, и в ней можно растворять все ненужное. Должно быть, все животные, когда меняют кожу или броню, испытывают такой же смутный стыд, страх и беспокойство и ищут уединения.

Значит, Я меняю кожу? Ах, все это прежняя ненужная болтовня! Все дело в том, что Я не избежал взоров *Марии* и, кажется, готовлюсь замуравить последнюю дверь, которую Я так берег. Но Мне стыдно! – клянусь вечным спасением, Мне стыдно, как девушке перед венцом, Я почти краснею. Краснеющий Сатана... нет, тише, тише: *его* здесь нет! Тише!..

Магнус рассказал ей все. Она не повторила, что любит Меня, но взглянула и сказала:

– Обещайте *мне*, что вы не убьете себя.

Остальное сказал ее взор. Ты помнишь, как он ясен? Но не думай, что Я ответил поспешным согласием. Как сала-

мандра в огне, Я быстро прошел все цвета пламени, и Я не повторю тебе тех огненных слов, которые извергла моя раскаленная преисподняя: Я забыл их. Но ты помнишь, как ясен взор Марии? И, целуя руку ее, Я сказал покорно:

– Сударыня! Я не прошу у вас сорока дней размышления и пустыни: пустыню Я сам найду, а для размышления Мне довольно недели. Но неделю Мне дайте и... пожалуйста, не смотрите на меня больше, иначе...

Нет, Я сказал не так, а как-то другими словами, но это все равно. Теперь Я меняю кожу, Мне больно, стыдно и страшно, потому что всякая ворона может увидеть и заклевать Меня. Какая польза в том, что в кармане у Меня револьвер? Только научившись попадать в себя, сумеешь убить и ворону: вороны это знают и не боятся трагически отдутых карманов.

Вочеловечившийся, пришедший сверху, Я до сих пор только наполовину принял *человека*. Как в чужую стихию, Я вошел в человечность, но не погрузился в нее весь: одной рукою Я еще держусь за мое Небо, и еще на поверхности волн мои глаза. Она же приказывает, чтобы Я принял человека всего: только тот *человек*, кто сказал: никогда не убью себя, никогда сам не уйду из жизни. А бич? А проклятые рубцы на спине? А гордость?

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!

Смотрю в прошлое Земли и вижу мириады тоскующих теней, проплывающих медленно через века и страны. Это рабы. Их руки безнадежно тянутся ввысь, их костлявые ребра

рвут тонкую и худую кожу, их глаза полны слез и гортань пересохла от стонов. Вижу безумство и кровь, насилие и ложь, слышу их клятвы, которым они изменяют непрерывно, их молитвы Богу, где каждым словом о милости и пощаде они проклинают свою землю. Как далеко ни взгляну, везде горит и дымится в корчах земля; как глубоко ни направлю мой слух, отовсюду слышу неумолчные стоны: или и чрево земли полно стенающих? Вижу полные кубки, но к какому ни протянулись бы мои уста, в каждом нахожу уксус и желчь: или нет других напитков у человека? И это – человек?

Я знал *их* и прежде. Я видел *их* и раньше. Но Я смотрел на них так, как Август из своей ложи смотрел на вереницу жертв: «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя». И Я глядел на них глазами орла, и даже кивком не хотела почтить их стонущего крика моя мудрая златовенчанная голова: они появлялись и исчезали, они шли бесконечно – и бесконечно было равнодушие моего цезарского взгляда. А теперь... неужели это Я торопливо шагаю, поднимая песок арены? И это Я, этот грязный, худой, голодный раб, что задрал вверх свое тюремное лицо и хрипло орет в равнодушные глаза Судьбы:

– Аве, Цезарь! Аве, Цезарь!

Вот острый бич взвился над моей спиной, и Я с криком боли падаю ниц. *Господин* ли это бьет Меня? Нет, это другой *раб*, которому велели бичевать *раба*: ведь сейчас же плеть будет в моей руке, и его спина покроется кровью, и он будет

грызть песок, который еще скрипит на моих зубах!

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!

III

29 марта, Рим

Купи самой черной краски, возьми самую большую кисть и широкой чертой раздели мою жизнь на вчера и сегодня. Возьми жезл Моисея и раздели текучее время, как поток, осуши дно времени — — — лишь тогда ты почувствуешь мое *сегодня*.

Ave, Caesar, moriturns te salutat!⁵

2 апреля, Рим, палатца Орсини

Я не хочу лгать. Во мне еще нет любви к тебе, человеке, и если ты уже успел раскрыть объятия, то, пожалуйста, закрой их: еще не настало время для жарких лобзаний. Потом, когда-нибудь мы и обнимемся с тобою, а пока будем сдержанны и холодны, как два джентльмена в несчастье. Не скажу, чтобы и уважение мое к твоей личности заметно возросло, хотя твоя жизнь и твоя судьба стали моей жизнью и моей судьбою: достаточно того, что я добровольно подставил шею под ярмо, и теперь один и тот же кнут будет полосовать наши спины.

Да, пока достаточно и этого. Ты заметил, что большая

⁵ Слава тебе, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (*лат.*)

буква снята с моего «я»? – она выброшена мною вместе с револьвером. Это знак покорности и равенства, ты понимаешь? Быть равным с тобою – вот клятва, которую я принес себе и Марии. Как король, я присягнул на верность твоей конституции, но не изменю клятве, как король: от прежней жизни моей я сохранил уважение к договорам. Клянусь, я буду верным твоим товарищем по общей каторге нашей и не убегу один!

За эти последние ночи перед решением я много думал о *нашей* жизни. Она гнусна, это правда? Тяжело и оскорбительно быть этой штучкой, что называется на земле человеком, хитрым и жадным червячком, что ползает, торопливо множится и лжет, отводя головку от удара, – и сколько ни лжет, все же погибает в назначенный час. Но я буду червячком. Пусть у меня родятся дети, пусть и мою размышляющую головку в назначенный час раздавит неразмышляющая нога – я покорно принимаю все это. Мы оба оскорблены с тобою, товарищ, и в этом уже есть маленькое утешение: ты будешь слушать мои жалобы, а я твои, а если дойдет дело до суда, то вот уже готовы и свидетели! Это хорошо, когда убивают на площади, – всегда есть очевидцы и свидетели.

Буду и лгать, если придется. Не той свободной ложью *игры*, которую лгут и пророки, а той вынужденной заячьей ложью, когда приходится прятать уши и летом быть серым, а на зиму белеть. Что поделаешь, когда за каждым деревом прячется охотник с ружьем! Это *со стороны* кажется неблаго-

родным поступком и вызывает осуждение, а нам с тобою надо жить, товарищ. Пусть *сторонние* осуждают нас и дальше, но, когда понадобится, будем лгать и по-волчьи: высказывать внезапно и хватать за горло; надо жить, брат, надо жить, и виноваты ли мы, что в горячей крови так много соблазна и вкуса! В сущности, ведь ни ты, ни я не гордимся ни ложью, ни трусостью, ни свирепостью нашей, и кровожадны мы отнюдь не по убеждению.

Но как ни гнусна наша жизнь, еще более она несчастна – ты согласен с этим? Я еще не люблю тебя, человеке, но в эти ночи я не раз готов был заплакать, думая о твоих страданиях, о твоём измученном теле, о твоей душе, отданной на вечное распятие. Хорошо волку быть волком, хорошо зайцу быть зайцем и червяку червяком, их дух темен и скуден, их воля смиренна, но ты, человеке, вместил в себя Бога и Сатану – и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном и смрадном помещении! Богу быть волком, перехватывающим горло и пьющим кровь! Сатане быть зайцем, прячущим уши за горбатой спиной! Это почти невыносимо, я с тобой согласен. Это наполняет жизнь вечным смятением и мукой, и печаль души безысходна.

Подумай: из троих детей, которых ты рождаешь, один становится убийцей, другой жертвой, а третий судьей и палачом. И каждый день убивают убийц, а они все рождаются; и каждый день убийцы убивают совесть, а совесть казнит убийц, и все живы: и убийцы и совесть. В каком тумане мы

живем! Послушай все *слова*, какие сказал человек со дня своего творения, и ты подумаешь: это Бог! Взгляни на все *дела* человека с его первых дней, и ты воскликнешь с отвращением: это скот! Так тысячи лет бесплодно борется с собою человек, и печаль души его безысходна, и томление плененного уха ужасно и страшно, а *последний* Судья все медлит своим приходом... Но он и не придет никогда, это говорю тебе я: навсегда одни мы с нашей жизнью, человече!

Приму и это. Еще не нарекла меня своим именем Земля, и не знаю, кто я: Каин или Авель? Но принимаю жертву, как принимаю и убийство. Всюду за тобою и всюду с тобою, человече. Будем сообща вопить с тобою в пустыне, зная, что никто нас не услышит... а может, и услышит кто-нибудь? Вот видишь: я уже вместе с тобою начинаю верить в чье-то Ухо, а скоро поверю и в треугольный Глаз... ведь не может быть, честное слово, чтобы такой концерт не имел слушателя, чтобы такой спектакль давался при пустом зале!

Думал я о том, что меня еще ни разу не били, и мне страшно. Что будет с моей душою, когда чья-то грубая рука ударит меня по лицу... что будет со мною! Ведь я знаю, что никакая земная расплата не вернет мне моего лица, и что будет тогда с моею душою?

Клянусь, приму и это. Всюду за тобой и всюду с тобой, человече. Что мое лицо, когда ты своего Христа бил по лицу и плевал в его глаза? Всюду за тобой! А надо будет, сам ударю Христа вот этой рукой, что пишу: всюду за тобой, человече.

Били нас и будут бить, били мы Христа и будем бить... ах, горька наша жизнь, почти невыносима!

Еще недавно я оттолкнул твои объятия, сказал: рано. Но сейчас говорю: обнимемся крепче, брат, теснее прижмемся друг к другу – так больно и страшно быть одному в этой жизни, когда все выходы из нее закрыты. И я еще не знаю, где больше гордости и свободы: уйти ли самому, когда захочешь, или покорно, не сопротивляясь, принять тяжелую руку палача? Сложить руки на груди, одну ногу слегка выставить вперед и, гордо закинув голову, спокойно ждать:

– Исполни свою обязанность, палач!

Или:

– Вот моя грудь, солдаты: стреляйте!

В этой позе есть пластичность, и она мне нравится. Но еще больше нравится мне то, что в ней каким-то странным образом снова возрождается мое большое Я. Конечно, палач не замедлит исполнить свою обязанность, и солдаты не опустят ружей, но важна линия, важно *мгновение*, когда перед самой смертью я вдруг почувствую себя бессмертным и стану шире жизни. Странно, но лишь одним поворотом головы, одной фразочкой, сказанной или подуманной вовремя, я как бы изъеблю мой дух из оборота, и вся неприятная операция происходит *вне меня*. И когда смерть щелкнет выключателем, ее мрак не покроет света, который ранее отделил себя и рассеялся в пространстве, чтобы снова собраться где-то и засиять... но где?

Странно, странно... Я шел от человека – и оказался у той же стены Беспамятства, которую знает один Сатана. Как много значит поза, однако! Это надо запомнить. Но будет ли так же убедительна поза и не потеряет ли она в своей пластичности, если вместо смерти, палача и солдат придется сказать иное... хотя бы так:

– Вот мое лицо: бейте!

Не знаю, почему так заботит меня лицо, но оно меня очень заботит, сознаюсь тебе, человеке, – беспокоит чрезвычайно. Нет, пустяки. *Изъемлю дух* из оборота. Пусть, пусть бьют! Когда дух *изъят*, то это не больнее и не оскорбительнее, чем если бы ты стал бить мое пальто на вешалке...

...Но я совсем забыл, что я не один, и, находясь в твоём обществе, впадаю в неприличную задумчивость. Уже полчасика, как я молчу над этой бумагой, а казалось мне, что я все время говорю – и очень оживленно! Забыл, что мало думать, а надо еще говорить! Как жаль, человеке, что для обмена мыслями мы должны прибегать к услугам такого скверного и вороватого комиссионера, как слово, – он крадет все ценное и лучшие мысли портит своими магазинными ярлыками. Скажу по правде: это огорчает меня больше, нежели смерть и побои.

Меня пугает необходимость *умолкать*, когда я дохожу до *необыкновенного*, которое невыразимо. Как реченька, я бегу и движусь вперед только до океана: в его глубинах кончается мое журчание. В себе самом, не двигаясь и не уходя, взад и

вперед колышется океан. На землю он бросает только шум и брызги, а глубина его нема и неподвижна, и бестолково ползают по ней легкие кораблики. Как выражу себя?

До того, как принять решение и зачислиться в земные рабы, я не говорил ни с Марией, ни с Магнусом... зачем говорить мне с Марией, когда воля ее *ясна*, как и взор? Но, став рабом, пошел к Магнусу жаловаться и советоваться – по-видимому, с этого начинается человеческое.

Магнус слушал меня молча и, как показалось, несколько рассеянно. Он работает день и ночь, почти не зная отдыха, и сложное дело ликвидации так быстро подвигается в его энергичных руках, как будто всю жизнь он занимался только этим. Мне нравится его размах и великолепное презрение к мелочам: в запутанных случаях он выбрасывает спорные миллионы с легкостью и грацией вельможи... Но он очень устал, его глаза кажутся теперь больше и темнее на бледном лице, и, кроме того, – как я только теперь узнал от Марии – его мучат частые головные боли.

Мои жалобы на жизнь, боюсь, не вызвали в нем особенно-го сочувствия. Какие обвинения я ни возводил на человека и его жизнь, Магнус нетерпеливо соглашался:

– Да, да, Вандергуд, это и есть – быть человеком. Ваше несчастье в том, что вы догадались об этом несколько поздно и теперь излишне волнуетесь. Когда вы *испытаете* хоть часть того, что теперь так пугает вас, вы будете говорить иначе. Впрочем, я радуюсь, что *равнодушие* уже оставило вас: вы

стали значительно нервнее и подвижнее. Но откуда в ваших глазах этот чрезмерный страх? Встряхнитесь, Вандергуд!

Я засмеялся.

– Благодарю вас, я уже встряхивался. По-видимому, это смотрит из моего глаза *раб*, ожидающий плети... потерпите, Магнус, я еще не совсем привык. Скажите, мне придется совершать или совершить... убийство?

– Очень возможно.

– А вы не скажете мне, как это происходит?

Мы оба одновременно взглянули на его большие белые руки, и Магнус ответил слегка иронически:

– Нет, этого я вам не скажу. Но если хотите, я расскажу вам другое: о том, что значит *до конца* принять человека, – ведь именно это вас волнует?

И с большой холодностью, с каким-то тайным нетерпением, как будто другая мысль поглощала все его внимание, он коротко рассказал мне об одном невольном и страшном убийце. Не знаю, передавал ли он факт или нарочно для меня сочинил эту мрачную побасенку, но дело заключалось в следующем. Это было давно; один русский, политический ссыльный, человек очень образованный и в то же время религиозный, что еще встречается в России, бежал с каторги и, после долгого и мучительного блуждания по сибирским лесам, нашел приют у каких-то сектантов-изуверов. Огромные бревенчатые свежие хижины в дремучем лесу, высокие заборы, огромные бородатые люди, огромные злые собаки

– что-то в этом роде. И как раз в его присутствии должно было совершиться чудовищное преступление: эти сумасшедшие мистики, под влиянием каких-то диких религиозных представлений должны были заклать невинного *агнца*, то есть на самодельном алтаре, при пении гимнов, убить ребенка. Всех мучительных подробностей Магнус не передал, ограничившись только кратким указанием, что *это* был семилетний мальчик в новой рубашечке и что здесь же присутствовала его еще молодая мать. Все разумные доводы, все убеждения ссыльного, что они готовятся свершить величайшее кощунство, что не милость Господня ждет их, а страшнейшее мучение ада, оказались бессильны перед тупым и страстным упорством фанатиков. Он становился на колени, умолял, плакал, хватался рукою за нож – в эту минуту жертва, уже обнаженная, лежала на столе и *мать* старалась утишить ее слезы и крики, – но этим привел фанатиков только в бешенство: они пригрозили убить и его...

Магнус взглянул на меня и как-то особенно холодно и медленно произнес:

– А как бы вы поступили в этом случае, мистер Вандергуд?

– Конечно, я боролся бы, пока не был бы убит!

– Да? *Он* поступил лучше. *Он* предложил свои услуги и *своей* рукою, при соответствующем пении, перерезал мальчику горло. Вас это удивляет? Но *он* сказал: лучше на себя возьму этот страшный грех и кару за него, нежели отдам

аду этих невинных глупцов. Конечно, такие вещи случаются только с русскими, и мне кажется, что и сам он был несколько сумасшедшим. Он и умер впоследствии в сумасшедшем доме.

После некоторого молчания я спросил:

– А как бы *вы* поступили, Магнус?

И еще холоднее он ответил:

– Право, не знаю. Это зависело бы от минуты. Очень возможно, что просто ушел бы от этих зверей, но возможно, что и... Человеческое безумие весьма заразительно, м-р Вандергуд!

– Вы называете это только безумием?

– Я сказал: человеческое безумие. Но здесь дело в вас, Вандергуд: как *вам* это нравится? Я иду работать, а вы подумайте, где *граница* человеческого, которое вы сполна хотите принять, и потом скажите мне. Ведь вы не раздумали, надеюсь, остаться *с нами*?

Он усмехнулся с снисходительной ласковостью и вышел, а я остался думать. И вот думаю: где граница?

Признаюсь еще, что я начал как-то нелепо побаиваться Фомы Магнуса... или и этот страх – один из новых даров моей полной человечности? Но когда он так говорит со мною, мною овладевает странное смущение, мои глаза робко мигают, моя воля сгибается, как будто на нее положили неизвестный мне, но тяжелый груз. Подумай, человеке: я с *почтением* жму его большую руку и *радуясь* его ласке! Раньше этого не

было со мною, но теперь при каждом разговоре я ощущаю, что этот человек во всем может идти *дальше* меня.

Боюсь, что я *ненавижу* его. Если я не испытывал еще любви, то я не знаю и ненависти, и так странно будет, если ненависть я должен буду начать с *отца* Марии!.. В каком тумане мы живем, человече! Вот я произнес имя *Марии*, вот духа моего коснулся ее ясный взор, и уже погасла и ненависть к Магнусу (или я выдумал ее?), и уже погас страх перед человеком и жизнью (или я выдумал и это?), и великая радость, великий покой нисходят на мою душу.

Будто снова я белая шхуна на зеркальном океане. Будто все ответы я держу в своей руке и мне только лень разжать ее и прочесть. Будто вернулось ко мне *бессмертие* мое... ах, я больше не могу говорить, человече! Хочешь, я крепко пожму твою руку?

4 апреля 1914 г.

Добрейший Топпи одобряет все мои поступки. Он очень развлекает меня, этот добрейший Топпи. Как я и ожидал, он *совершенно* забыл свое истинное происхождение: все мои напоминания о нашем прошлом он считает шуткой, иногда смеется, но чаще обиженно хмурится, так как очень религиозен, и даже шуточное сопоставление его с «рогатым» чертом кажется ему оскорбительным, – он сам убежден теперь, что черти рогаты. Его американизм, вначале бывший блед-

ным и слабым, как карандашный набросок, теперь налился красками, и я сам готов поверить всей чепухе, которую Топпи выдает за свою жизнь, – так она искренна и убедительна.
По *его*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.